

ЕЛЕНА ШВАРЦ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
В дурную погоду

« Пушкинский фонд »
Санкт-Петербург • МСМХСVII



ЕЛЕНА ШВАРЦ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
В ДУРНУЮ ПОГОДУ

« Пушкинский фонд »
Санкт-Петербург • МСМХСVII

Марка издательства работы
Сергея Семенова

ВЗРЫВЫ И ГОМУНКУЛЫ

Маленькая повесть в трех частях с эпилогом

I часть

1. Друг спешит к другу

Вода ударялась о воду. В Неву лился ливень. Приходя в соприкосновение с поверхностью реки, струи вынуждены были резко менять направление и плыть все в одну сторону, а именно — залива. Тогда как они успели уже надоесть друг другу за время своего параллельного падения... А может, им хотелось покружиться, повертеться...

Было полшестого утра. Кочетков Александр ехал по мосту в трамвае, потому что его друг Ваня Мюллер наконец окончил свой многолетний труд.

2. Умноженный сам на себя додекаэдр

«...Последнее, что слышал Гриневицкий, был колокольный гул: бум-бум-бум-бу... Все же остальные слышали взрыв и раскатистый грохот. Желябов, в доме предварительного заключения, испытал, услышав взрывы, разные чувства: как революционер — одни, как мужчина и муж — другие, как человек — третьи, как собрат и

коллега — четвертые, как игрок и охотник — пятые, как родственник своих родственников — шестые, как поэт в душе — седьмые, как демоническая натура — восьмые, как дитя под суровою корою — девятые и еще многие, многие другие, о которых здесь не время, да и не место распространяться.

Знаменитый писатель Ник. Лесков и его сын Андрей, в то время гимназист, услышав грохот, остановились. Воздух еще дрожал, когда раздался второй взрыв, жутче чем-то первого. Они проходили мимо булочной на углу Захарьевской и Литейного. И услышали еще запах булки. С тех пор и до конца своих дней, как только Андрей Лесков слышал взрыв (а их он слышал много), ему сразу хотелось горячей булки, а почему — он не знал. Удивившись, они в растерянности огляделись, и при этом взгляд их, проведя в воздухе круг, задел и дом предварительного заключения. Но толстая и тогда уже стена помешала им увидеть Желябова, кусающего ногти.

Свежая могила Достоевского от звука взрыва слегка осела и первая доска скрипнула.

Грачи кружились в воздухе и жалели — зачем не остались в Пскове.

Актеры Александринского театра начали было репетицию, последнюю перед премьерой, но в панике бросились со сцены, решив, что завистники наконец подвели под театр бомбу.

Кухарка Авдотьева в этот миг мыла пол и, услышав грохот, по причине легкой своей глухоты решила, что это ее муж упал в соседней комнате с постели, с которой он не вставал уже неделю, предаваясь запою, и в сердцах прокляла его. В кухарке этой крылась такая большая оккультная сила, что ее муж тотчас заболел скоротечной чахоткой. И через неделю она уже шла за его гробом пешком в Старую Деревню.

Короче говоря, взрыв этот поднялся в воздух и превратился как бы в некий многогранный шар, в умноженный сам на себя блестящий додекаэдр, который понесся, разрастаясь во все стороны, некоторых давя, некоторых ослепляя. После чего он и сам взорвался. Многочисленные его осколки рассыпались, блестя и сверкая».

3. Друг, извинившись, перебивает друга

— Извини, пожалуйста, — сказал Александр, — твое сочинение, Ваня, навело меня на некоторые мысли, или даже, скорее, воспоминания, и я хочу с тобой поделиться ими, а то снова забуду. Видишь ли, когда мне было пять лет, я убил свою тетку. Понимаешь, я высунулся в форточку и плевал в прохожих, и вот некоторые из них стали ломиться к нам в квартиру, и тогда моя тетя Ира открыла им дверь, и они стали кричать и ругаться, и она в ярости, при них же, сорвала с меня штанишки, сломала расцветающий филокактус, знаешь — с такими зазубринками по краям листьев, и...

4. Несчастный случай в родильном доме доктора Пепперкорна

— Здесь начинается самое интересное, — сказал Ваня. — Ты потом расскажешь про кактус. Я перехожу к самой сути моего исследования, к причине, побудившей меня. Тут вплетается мотив глубоко личный. Слушай. «Некоторых давя и некоторых ослепляя, после чего он сам взорвался. Многочисленные осколки разлетелись по сторонам и по сей день летают. Один из них ношу в себе. Вот как это произошло. За минуту до взрыва, то есть в 13.44, 1 марта 1881 года, моя бабушка, Анастасия Ивановна Мюллер, в девичестве Лупекина, родила сына — Петра Мюллера, моего отца. Случилось это в лечебнице доктора Пепперкорна, персонал которой славился своей аккуратностью и умелостью, почему дедушка тогда и настоял, чтобы роды принимались там и нигде больше. Лечебница же находилась на Канаве, в пятистах метрах от взрыва; дедушка не мог этого предвидеть, того то есть, что произойдет Взрыв, и акушерка-немка, в жизни их не слышавшая, испугается так, что уронит моего новорожденного отца прямо на каменный пол, забыв свой профессиональный долг, потому что она не должна была бы ронять младенца, даже если бы началось светопреставление. Пепперкорн уволил ее с волчьим билетом, но вряд ли это может кого-нибудь утешить, а тем более — меня.

Отец мой долго был при смерти. Но выжил. Он был, по словам бабушки, нормальным ребенком во всем — за единственным исключением — он не говорил до 15 лет.

Заговорил он вот как: отец был всегда (и добавлю — остался до самой смерти) очень хорош собою, просто неотразим. Он возбуждал страсть во всех женщинах, которые только его видели, но сам оставался холоден ко всем. И вот — когда ему было 15 лет — развратная горничная ущинула его в коридоре, подмигнула и, думая, что слов он не понимает, подтолкнула его к дверям своей комнаты. Тут отец страшно покраснел и сказал, потирая место ущипа (целительного, как оказалось): «Милостивый государь! Я не из тех, кои дают повод мужчинам презирать себя!» — и с тех пор он говорил до конца своих дней, почти не умолкая.

Но молчание, столь продолжительное, не было его единственным ущербом. Остальные, однако, не были такой уж большой жизненной важности. Он не умел (и никогда не научился):

считать дальше ста,
умножать и делить,
фехтовать,
ругаться матом,
есть курицу,
учить наизусть стихи,
курить,
ездить на лошади
и смотреть кино.

Кроме того, он не мог дарить своей жене тех радостей, которые, как считают, должны дарить друг другу стороны, состоящие в законном браке. У моей матушки было шесть человек детей, из них я один — законный.

Как призналась она мне недавно, я был зачат папенькой в припадке странного вдохновения, когда ему было 66 лет. Ни до, ни после такого с ним не случалось. Поэтому все мои братья и сестры по возрасту годятся мне в бабушки и дедушки.

Из того, что не умел папенька, я не умею только фехтовать. Сам же по себе (что тоже, несомненно, последствия взрыва) я не умею:

играть в карты,
произносить слова с окончанием на -тия, -ция,
открывать шампанское,
давать на чай
и составлять гербарии.

Во всем остальном же я — человек вполне обычный. Как видишь, — я не умею уже меньше, чем не умел мой папа, но кто поручится, что мои дети, внуки и отдаленные потомки не будут не уметь еще больше, чем папа, то есть будут носить в самих себе звук и осколки того взрыва, происшедшего 1 марта 1881 года и убившего императора Александра II, Гриневицкого, мальчика с салазками и повергнувшего моего отца на каменный пол. Кто может дать мне такую гарант... гарант...» — «Гарантию», — помог Александр.

— Да, пока все. Я кончил.

5. Александр продолжает свой рассказ

— То, что ты, Ваня, прочел, — меня поразило и даже потрясло. Не понимаю только, почему ты так мучаешься. Ведь все знают, что сын Маши Поповой — твой ребенок, и хотя ему всего 5 лет, он много говорит, играет в карты, фехтует, открывает шампанское и ест курицу. Так что у тебя нет оснований для того, чтобы так себя истязать.

Ваня вздохнул и задумался. Александр сказал:

— На чем я остановился? Да. Тетя Ира, а я ее любил и обожал, к слову сказать, сломала гладколистный кактус (как раз только расцветший — как сейчас помню — с огромным лилово-розовым цветком, с большой кистью шелковых тычинок) и отхлестала меня при всех. Я кусал себя за руку, но молчал. Потом она просила прощения — на коленях. Я сделал вид, что простил.

Тут Александр заплакал.

— Не рассказывай, если тебе больно, — сказал Ваня.

— Ну, раз уже начал, — и Александр продолжил свой рассказ.

— Тетя Ира купила мне на следующий день два пирожных — наполеон и корзиночку. И сводила меня в

кино — на «Красную Шапочку». Родители мои были тогда в отъезде — они геологи. Я хотел написать отцу письмо. «Папа, — хотел я ему написать, — меня обижают здесь, приезжай». Но вместо этого я взял крысиный яд, он стоял в кладовке, в банке с синей крышкой. Вынул из корзиночки крем, смешал его со столовой ложкой яда, положил обратно крем и варенье, а потом отнес его тете Ире и сказал: «Скушай, тетя». Она заплакала от умиления и долго отказывалась. Но потом со словами: «Добрый мальчик. Сашенька у нас добрый», — съела.

Ваня молчал и только смотрел на Александра.

— Она съела. Ну и умерла. В мученьях.

Ваня сказал только:

— Ты? И никто не узнал?

— Нет, конечно, кто подумает на пятилетнего малыша? Подумали — сама отравилась. Когда она лежала и кричала, мне стало страшно, я плакал. Правда, я думал: теперь не будешь ломать кактусы, не будешь бить! Но мне было очень страшно и жалко ее. Когда ее увозили, она с трудом уже сказала: «Если б ты знал!..» — и застонала.

И он заплакал опять.

— Не плачь, Саша, не надо. Ты был другой человек, ребенок.

— Я плачу оттого, что все эти двадцать лет не помнил об этом, я забыл тогда же. И при мне никогда не говорили о тете Ире. Я жил так, как будто ничего не было и я никого не убивал! И только недавно вспомнил, как она сказала — если б ты знал... И я задумался — что знал? Что она хотела сказать?.. Ты теперь отвернешься от меня? И правильно.

— Нет, что ты!

6. Ваня утешает Сашу

Солнце освещало пыльный пол Ваниной комнаты.

— Саша, не вспоминай! Если все вспоминать... Чтобы все вспомнить — всю жизнь, если бы вдруг память так заработала — все — до того, что зевнул, встал, сел, лег, то надо было бы прожить сколько прожил — на всю длинную памяти, а потом еще столько же, чтобы вспомнить,

как вспоминал, и так — до бесконечности. Не вспоминай, а живи просто — и все.

7. Саша делает еще одно признание

— Ты знаешь, Ваня, я рассказал об этом потому...

— Почему?

— Я не хотел говорить о твоём сочинении: оно мне не понравилось. Я хотел тебя отвлечь и рассказать что-нибудь такое, чтобы ты отвлекся. И тут вспомнил, — сказал Саша, не замечая, что Ваня покраснел и насупился.

— Я все думал, что бы это означало: «если б ты знал», но так и не понял. То ли — если б ты знал, как я страдаю, или — если б ты знал, как ты сам будешь страдать, или — если б ты знал, что такое жизнь и что значит отнять ее у кого-нибудь?

Ваня сказал:

— Конечно, ты не понимал тогда этого. Ты и сейчас не понимаешь. Как можно жить, если сделал такое?

— Ах так! — сказал Саша и ушел.

8. Саша идет домой

Саша стоял в очереди за квасом и думал: зачем я наврал про какую-то тетю? Надо было прямо сказать — что это была моя мать. И все. Нет, я еще не свободен. Он заплатил три копейки и оглянулся. Он стоял на том месте, где когда-то лился не квас, а совсем-совсем другое. Где был тот взрыв, где Гриневицкий услышал «бум-бум». «Ах, Ваня, прости, пожалуйста», — подумал Саша. Он вернулся и сказал:

— Я не понял сначала. Мне очень понравилось.

Ваня улыбнулся и сказал:

— Забудь, Саша.

9. На прогулке

— Мне очень тяжело, — сказал Саша.

Потом они выпили портвейна и пошли гулять. Они молчали. Гуляли до самой ночи. Они спустились по гра-

нитным ступеням к самому каналу. Было тихо и холодно.

— Тебе все еще тяжело? — спросил Ваня.

— Да, — сказал Саша.

— А я мог бы сделать так, чтоб тебе стало легче. Я мог бы толкнуть тебя сейчас, и ты полетел бы в канал и утонул.

— Зачем?

— А зачем ты отравил тетку? Я бы восстановил равновесие справедливости и взял бы твой грех на себя.

Саша подвинулся ближе к воде, подальше от Вани. Канал лежал как мертвая загнивающая кошка. С тем же выражением всезнания и покоя на волнах.

— Ты этого не сделаешь.

— Почему?

— Потому что ты не Гриневицкий и даже не Рысаков. Потому что мы живем в ничтожное время и, следовательно, мы ничтожнейшие люди.

Ваня сказал:

— Если бы я взял твой грех на себя, он был бы на мне и кому-то потом пришлось бы убить меня. Но если я потом убью сам себя, то вся эта цепь уйдет в землю и распадется. Но убивать надо спокойно и равнодушно, как прикуриваешь. Тогда это будет равноценно.

С этими словами Ваня подошел к Саше и толкнул его ногой в воду. Он сделал это равнодушно и спокойно. Поэтому Саша успел схватить его за пальто и они оба упали в воду. Они барахтались так недолго. Появилась дворничиха и закричала благим матом. Ваня и Саша вылезли, грязные и мокрые, на ступеньки. Саша лег животом на камень и тяжело дышал.

— Тьфу, — сказал Ваня и ушел.

И часть

1. Сашины мысли

Через полгода Сашина обида улеглась. Он решил познакомиться Ваню со своей невестой. К тому же он был

уверен, что Ваня продолжает свои разыскания, и ему интересно было с ними познакомиться.

2. Катя знакомится с Ваней

Катя была широкоплечая, миловидная, в очках, с распущенными волосами того цвета, который Гончаров называл «нежно-мочальным».

— Какой вы красивый, — сказала Катя и протянула руку ладонью вверх.

— Весь в отца, — сказал Ваня и слегка плюнул ей на руку. Она вытерла руку о волосы и представилась:

— Екатерина Романовна Вяземских. Студентка бирманского отделения.

Она вошла в комнату, сняла подушку с незастеленной постели и, положив ее на пол, села. Между ними состоялся следующий диалог:

Катя: Хлебово есть?

Ваня: В смысле выпить? Только краска, к сожалению.

Катя: Сойдет.

3. Ваня и Саша открывают на кухне бутылку

Ваня спросил Сашу:

— Ты собираешься на ней жениться?

— Да, — сказал Саша. — Она ничего. Поколачивает иногда. Но ничего. Развита. Она пишет эссе о тамплиерах. Волошина опровергает. Только впечатлительна чересчур.

4. Разговор Вани с Катей

Катя сказала:

— Мне ваша фамилия, Мюллер вас, да? — не нравится.

Ваня спросил:

— Антитевтонка? Антисемитка?

Катя ответила:

— И то и другое.

Ваня обрадовался:

— Тогда я вас сейчас выгоню, — и спрятал бутылку.

— Не выгоните.

— Почему? Я — хозяин.

— А нас больше, — заметила Катя.

Они помолчали.

Катя задумчиво сказала:

— Вообще все зависит от настроения. Когда как. Обычно в будни — ведь сегодня праздник — 8 марта — я чужда расовых предрассудков, да и, пожалуй, сословных тоже. Видите ли, по материнской линии я происхожу из рода бояр Вяземских и родственница знаменитого поэта. Но моя мать, стараясь доказать лояльность режиму, в конце 20-х годов вышла замуж за бывшего дворового человека князей Вяземских, за лакея-калмыка Романа Вяземских. Поэтому по матери я — Вяземская, а по отцу — Вяземских. Правда, интересно? Редкий случай.

— Интересно, — сказали Ваня и Саша.

Ваня спросил:

— А вы хорошо изучили бирманский язык?

— Знаешь, — сказал Саша, — она постеснялась сказать, что учится на китайском. Это кажется ей слишком тривиальным.

— О! — воскликнул Ваня. — Это мой любимый язык, скажите что-нибудь по-китайски, пожалуйста. Ну, например, мао-цзэ-дун-капут. Как это будет?

— Мяу-вяу-ли-ду! — прорычала Катя злобно.

— Что это значит?

— Это значит — пошел ты к едрене фене, — перевела Катя.

Они выпили и повеселели. Ваня спросил:

— Кстати, как вы решаетесь выйти замуж за человека, который убил свою тетю?

— Не тетю, а мать, — сказала Катя, — что ж, отчасти я его за это и полюбила.

Саша покраснел и сказал:

— Вам не стыдно мучить человека? И вообще — не мать, а отца. Я скрывал это потому, что не хотел, чтобы мне приписали Эдипов комплекс. Не будем об этом. Кстати, когда я рассказывал об этом твоему сыну Андрюше, он сразу понял, в отличие от вас, что это был отец, «Дядя

Саша, — сказал он, — у тебя банальный Эдипов комплекс. Зачем ты мне врешь? Ясно, что ты убил отца, а вот техника действительно оригинальная». Так он сказал. Вообще он иногда меня просто пугает. Зачем ты подсунул малышу Фрейда?

— Это не я, — сказал Ваня, — это Маша. Ты же знаешь Машу. Но я это отчасти одобрил, пусть ребенок изучает свои комплексы и сам лечит себя от неврозов. Ребенок забавный. Он сказал мне на днях, что у него комплекс Медеи наоборот, то есть он ненавидит мать. На самом деле он просто совершил перестановку родителей, чтобы избавиться от Эдипова комплекса, но так и не избавился.

Саша спросил:

— Ну а как твои изыскания насчет взрыва, работаешь? Кстати, у меня для тебя сюрприз. Но об этом после.

Ваня ответил:

— Работаю. Правда, я немного уклонился от темы. Я изучал второй взрыв — Гриневицкого — и продолжаю изучать, но временно занялся первым — Рысакова.

— Не слишком ли вы разбрасываетесь? — спросила Катя. Но ответа не получила. Ваня только заметил:

— Я не так оригинален, как ты, Саша, в деле умерщвления, я просто возьму эту девушку за ноги и стукну головой о подоконник.

Катя взяла в руки нож, но никто не обратил на нее внимания.

5. О мальчике с салазками

— Ты знаешь, — продолжал Ваня, — что бомбой Рысакова был убит проходивший мимо мальчик с салазками. Я был у знакомых каббалистов и сам произвел некоторые вычисления, навел справки и узнал кое-что об этом ни в чем не повинном мальчике. То, что я узнал, подтверждает мою теорию катящегося додекаэдра или просто граненого шара, если угодно. Или теорию живых осколков. Тут надо еще думать. Так вот — мальчика звали Иван Козмодемьянский, мать привезла его за год до взрыва в Петербург с Карпат. Это была уже очень старая

деревенская колдунья. Я ездил в село Горевица, что под Яречмой, и много о ней спрашивал. Древние старики ее еще помнят. Мне рассказали, что она вынуждена была уехать из села, так как ее уличили в колдовстве и убийстве. Сына она родила от какого-то странного прохожего, впрочем, некоторые утверждали, что от обыкновенного, прилетающего через трубу огненного змея. Все эти сведения и мои вычисления недвусмысленно говорят о том, что мальчик этот должен был стать спасителем России. Не буду вдаваться в подробности, но если бы Рысаков не кинул свою дурацкую бомбу, которая убила именно этого мальчика и больше никого, то Иван Козмодемьянский стал бы политическим деятелем, вошел бы в состав Временного правительства, вовремя сместил бы Керенского и твердой рукой установил бы в России демокра... демокра... не могу произнести. Ну, вам понятно. При нем Учредительное собрание довело бы свою работу до конца, выработало бы конститу... ну, понятно, и он стал бы первым президентом свободной России.

Саша спросил:

— А ты не можешь познакомить нас с этими вычислениями?

— Нет, это слишком сложно, — сказал Ваня. — Я изучал каббалу семь лет и все еще только ученик, а вы хотите...

— Ну ладно, — сказал Саша, — я говорил, что у меня для тебя сюрприз. — Он достал из кармана тетрадку.

6. Изабелла

— Я рылся на днях в старых газетах, в Публичке был, и нашел в одной бульварной газетенке под названием «Новости Невского проспекта и 2-х Морских улиц» интересную для тебя заметку. Вот она. Номер от 24 марта 1901 года. «Мартовская серенада» — так называется заметка. Вот: «Знаменитая певица Изабелла Дюбон, подобно комете пронесшаяся по сценам Европы, оставившая позади себя курганы покончивших с собой поклонников, увлекшая за собой в Петербург целый хвост воздыхателей, осаждаемая и здесь толпами почитателей, наконец

не избегла стрелы Амура! Но стрела эта была отравлена. Лучше бы ты не приезжала к нам, итальянский соловей! Здесь в северных снегах застудила ты свое нежное горлышко и оказалась в лечебнице «Иван Иваныча» (это, — сказал Саша, — психиатрическая лечебница в Старой Деревне). Месяц назад, а именно 1 марта, Изабелла пела «Аиду»; как всегда, публика целый час не отпускала певицу, и та, к несчастью своему, кланяясь, кинула взор в ложу номер 4 (дело было в Мариинском театре). Она побледнела, покачнулась и кинулась прямо по ступенькам в зал, к упомянутой уже ложе. Она, не обращая внимания на испуганную и удивленную публику, встала на кресло и схватила за руку молодого человека, сидевшего в ложе. И что-то ему прошептала. Сидевшие рядом слышали только: «приходи...» — и потеряла сознание. Она упала бы с кресла, но подоспевшие друзья Изабеллы — князь В. и граф М. подхватили и унесли ее. Но молодой человек не пришел к ней, она сама пришла к нему — раз, другой, и, наконец, ее перестали принимать. Юный нарцисс (а им, как известно, оказался сын известного купца-немца Петр М-р) остался холоден к ее чарам. Изабелла прекратила петь, она заплатила огромную неустойку, все дни она проводила, преследуя молодого человека, который (о, немецкая рассудительность!) всячески избегал ее и даже прямо грубо отталкивал. И вот вчера ночью — дрожащая, лихорадочно возбужденная Изабелла (в сопровождении князя В. и тщетно успокаивающих ее многочисленных поклонников) подъехала к дому М-ов, скинула шубу, осталась в шелковой, шитой золотом тунике, подбежала к окнам, и все еще мощное и звонкое сопрано огласило С-ый переулок. Она пела арию Изольды. С восторгом ей внимали проснувшиеся жители соседних домов. Откуда слетела к ним эта райская птица? — думали они. И тут случилось... Ужасное!!! Чья-то жестокая рука (рука глухого, должно быть) высулась из окна... с горшком и вылила на певицу его содержимое, о котором умолчим. В глубоком обмороке увезли певицу домой, а оттуда в лечебницу. Как носит земля подобных... нет! не найти для них названия. Мы надемся (если жива в нас, русских, любовь к искусству), городская полиция вышлет этих извергов в 24 часа. Позор!»

— Вот это да! — сказала Катя.

— Это был твой отец, Ваня? — спросил Саша. — Ты говорил, что он был необыкновенно красив.

— Да, это был мой отец. Я слышал от родных об этой истории. Насчет горшка, правда, мне не рассказывали. Да это и сомнительно. Спасибо тебе, Саша.

Ваня встал и нежно поцеловал Сашу.

— Это очень важный документ для моей работы. В нем доказательство невероятной красоты моего отца. Сам он не любил своего лица и уничтожил все фотографии. Эта красота не была передана ему по наследству. Нет! Она тоже была последствие взрыва. Ужас, смешавшийся со взрывной волной, преобразил черты упавшего младенца. Отец чувствовал, должно быть, что его лицо — не его лицо, не его он должен был носить, и поэтому ненавидел свою красоту. Это было лицо взрыва. Вы видите, что я тоже красив. Но уже не так, как отец. Я ношу тоже это проклятие...

Тут в дверь постучали.

7. Пришли Маша и Андрюша

Маша вошла, вынула из кармана яблоко и кинула им в Ваню. Но не попала.

— Негодяй! Мало того, что ты не даешь нам ни копейки, ты еще обкрадываешь собственного ребенка!

Катя подняла яблоко и с хрустом вонзила в него зубы. Андрюша побежал к отцу и стал его целовать.

— Зачем ты унес его коньки? Мальчик не пошел на фигурное катание! Андрюша, иди сюда! — Но Андрюша все целовал отца.

— Ты продал их?

— Да, я их продал. Все равно — весна.

— У них искусственный лед, мерзавец! Дай деньги!

— Я их истратил.

— Я могу вам дать, если хотите, у меня есть три рубля, — сказала Катя.

— Вот! Ты еще девиц водишь! Всякая шлюха...

Маша подбежала к Кате, схватила ее за ухо, крича:

— Убирайся вон!

Катя молча укусила ее в плечо.

— Это невеста Саши! — закричал Ваня.

Маша сказала задумчиво:

— Ходят всякие...

Саша принес ей воды. Она причитала:

— У ребенка нет клюшки, у ребенка нет Брокгауза и Ефрона, а ведь обещал, обещал! — и она заплакала. Саша стал ее утешать. А Андрюша сказал Ване:

— Ты знаешь, папа, Николай Кузанский был прав, утверждая, что бесконечно малое и бесконечно большое тождественны! Но меня сейчас волнуют другие проблемы, эсхатологические...

— Мальчик, сколько тебе лет? — спросила Катя.

— Скоро пять, — ответил Андрюша, недружелюбно посмотрев на Катю. И добавил:

— Идея вечно женственного, как я замечаю, реже всего воплощается в женщинах. — И отвернулся. — Скажи, папа, как совместить метемпсихоз и Страшный Суд? Ведь если, скажем, в прошлых жизнях я был петухом, рыбой, рыцарем, вороной, собой — в этой и неизвестно кем — в следующей, потому что я чувствую, что я еще не достигну совершенства и мне придется воплощаться и воплощаться — так вот — в каком же образе я воскресну? Или, если отбросить метемпсихоз, то просто — в каком возрасте я возрожусь — в котором умру, стариком или молодым? И другие тоже — в каком кто умер?

Ваня сказал:

— На первый вопрос — о метемпсихозе — было бы долго отвечать, я потом объясню. А что касается второго, то неужели тебе непонятно, что где нет времени, там нет и возраста. И потом...

Тут Андрюша наклонился к Ване и шепотом спросил:

— А если мама умрет, ты возьмешь меня к себе?

Но Ваня не успел ответить на этот вопрос. Маша подошла к ним, взяла Андрюшу за руку и сказала:

— Пойдем.

И добавила Ване:

— Принеси завтра деньги, где хочешь достань.

— Лучше бы ваш ребенок поменьше читал, — сказала Катя.

— А это не ваше дело, — сказала Маша.

Андрюша подошел к Саше и сказал:

— Спасибо вам, дядя Саша, вы мне рассказали в прошлый раз много интересного и полезного.

И они ушли.

— Этот ребенок меня иногда пугает, — сказал Ваня.

— Да уж, ребеночек! — сказала Катя.

Потом они выпивали, беседовали о взрыве, одним из последствий которого они считали и Андрюшу.

— Интересно, что певица влюбилась в твоего отца тоже 1 марта. Странно, — заметил Саша.

— Да, я уже подумал об этом, — сказал Ваня.

Потом Катя сказала, что не пойдет домой, а останется с Ваней, потому что он ей нравится больше, чем Саша.

— Все это взрыв и эта проклятая красота, — вздохнул Ваня и заметил, что Катя ему не нравится.

Тогда Катя и Саша ушли.

8. Через некоторое время

Читатель уже, конечно, догадался, что случилось дальше. Примерно через неделю, когда Ваня и Саша опять сидели и разговаривали, уже без Кати, которая, чтобы избавиться от любви к Ване, занялась йогой и уже ложилась под грузовик, и тот не смог ее раздавить, а только запачкал, пришел Андрюша. Он был слегка взволнован. Он сказал:

— Папа, теперь ты должен взять меня к себе, потому что я воспользовался рекомендациями дяди Саши, его опытом и точно так же убил свою маму, как он своего отца.

Ваня побледнел, а Саша закричал:

— Я никого не убивал! Ни маму, ни папу! Я шутил, я просто играл. Не знаю зачем. Идиот! Как ты смел!

Андрюша сказал:

— Успокойтесь! Идея была интересной, и я ею воспользовался. Она уже в морге. Правда, корзиночки я не нашел, даже буше, но это дела не меняет, как вы понимаете. Из гуманных соображений я дал ей большую дозу наперстянки, когда она пожаловалась, что у нее болит живот. Так что у нее случился разрыв сердца, и она умерла мгновенно.

— Зачем ты это сделал?

— Чтобы ты взял меня к себе. Постоянное общение с ней делало мое мышление косным и мешало развитию интеллекта. На данном этапе мне нужен ты. А там посмотрим.

— А вот я сейчас возьму и отведу тебя в милицию. И ты признаешься.

— Нет, не признаюсь. А в милицию вести глупо. Никто тебе не поверит. Тебя запрут в психушку. Раскаяться бы можно, но тогда уже меня запрут в такое заведение, где я быстро деградирую. Так что, папа, бери меня к себе.

— А я знаю, что я с тобой сделаю, вундеркинд! Я запишу тебя в Суворовское училище.

Андрюша понял серьезность угрозы и зарыдал. Он надеялся только, что его не примут по возрасту, но его приняли ввиду его выдающихся способностей и стали учить строевой подготовке. Через год он уже объяснялся только междометиями и ругался матом. А Ваня с Сашей по-прежнему собирались по вечерам и читали друг другу отрывки из своих исторических изысканий и беседовали о Взрыве и о голове Гриневицкого, заспиртованной и предъявленной, как известно, Желябову для опознания.

Ш часть

Всегда ли прав тайный советник? — Всегда. Такие существа, как гомункулы, которые еще не омырачены и не ограничены законченным воплощением в человека... можно причислить к демонам.

Гете. Разговоры с Эккерманом

1. Из дневника Петра Креаторова

31 марта 1976 г. Наконец позади все мученья и озаренья, недели без сна и годы без отдыха! Слава, слава Богу! Ему же я, впрочем, и уподобился. Для моих созданий я Творец. Сколько порошков изведено, сколько кислот, шипя, проливалось. Мои пальцы за эти годы почер-

нели, а душа... чего ей стоили, бедняжке, одни только вызывания духов и заклинания, не говоря уж о мучениях совести! Сколько бедных крыс было мною убиваемо и даже живосечено! Но стоило, стоило! Пусть даже душа моя погибла, но я создал их — Карла и Клару, Меркурия и Серу. Особенно много надежд я возлагаю на Меркурия, я одарил его таким количеством серого вещества, что он едва может передвигаться, несчастный...

2

Действительно, уверяю вас, он создал свое маленькое человечество. Он — убогий бухгалтер в химическом институте, некий Петя Креаторов; человек с лицом вполне незначительным, но из-за которого иногда выплывало другое лицо и пряталось, как луна за тучу или как яблоко в кулак. Его психо-био-философско-этический эксперимент, дорого обошедшийся институту, где служил Креаторов, помимо основных своих грандиозных целей, преследовал и еще некую побочную цель, связанную с неразделенной любовью, которую он питал к Полине М. Он не видел ее уже семь лет... Но речь совсем не об этом.

В комнате его стояли два ящика, размером с большую птичью клетку, стеклянные, как аквариум, задернутые со всех сторон черным. Сверху в каждом из них была прикреплена лампа над полупрозрачной пленкой, и со всех сторон были дырочки для дыхания.

3

Заглянем же в первую клетку. На полу (на земле) клетки росла свеженькая изумрудная травка, цвели незабудки, в углу блестел пруд (размером с суповую тарелку). Посередине стоял розовато-желтый игрушечный домик (из немецкого набора «Мебел фюр пуппе»). Все это окаймляла немецкая же железная дорога.

Но что это? Дверь домика скрипнула, на крыльцо выбежал человек ростом с указательный палец двенадца-

тилетнего ребенка и стал делать утреннюю гимнастику, распевая в сторону лампы: «Солнышко светит ясное, здравствуй, страна прекрасная!» (Самое поразительное заключается в том, что песню эту он сочинил сам!) Вслед за ним появилось такое же существо женского пола в голубом платье, оно поцеловало гомункула и пропищало:

— Доброе утро, Карл. Давай поблагодарим боженьку, а то он рассердится и погаснет. (Они считали богом лампу.)

— Мне некогда, — пискнул Карл (богоборец) и побежал к пруду.

— Благодарю тебя, светлый боженька, за то, что ты светишь нам, недостойным, — прозвенела Клара. И тоже побежала купаться в пруд. Потом они принялись бегать по травке и целоваться. А потом катались по железной дороге, причем Карл изображал стрелочника, а Клара — машиниста. Так и кончился их четырехчасовой день. Лампа стала светить слабее, и они побежали в домик, где мирно уснули.

Если вам интересно знать, чем они питаются, то знайте: Креаторов делал им по ночам (их ночам) питательные уколы — витамины, глюкоза... Он делал их мгновенно, находя гомункулов в темноте на ощупь, теплых и сонных. Пискнут, и все. Очень быстро он умел колоть.

4

Зажжем лампу над второй клеткой. В ней был сооружен средневековый городок из папье-маше, с башней в центре. Городок расходился кругами и похож был сверху на гвоздику. На самом верху башни сидел гомункул в синем плаще, с огромной головой, покрытой колпаком. День свой он начинал тоже с молитвы, но не лампе молился он, а невидимому, страшному, остроблещущему Богу (игле, вы догадались?). Другая крошечная фигурка ходила по дальнему кругу, как медленный шарик в рулетке, и заливалась слезами. Она пищала:

— Меркурий! Меркурий!

Но Меркурий, заткнув уши ватой, открыл шкафчик, достал оттуда микрофильмы (Креаторов сделал ему микрофильмы всех величайших философских, исторических и некоторых художественных произведений) и склонился над ними. Меркурий посвятил себя поискам Бога и прогнал бедную Серу из башни. Вот она ходит и плачет, что ей еще остается? Жаль мне Серу.

5. Из дневника Креаторова

30 апреля 76. Жизнь их довольно однообразна. Правда, Карл и Клара иногда ссорятся. Но потом мирятся снова. Зачем я вообще сделал эту безмозглую парочку? Из любопытства, что ли? Ну сделал и сделал. Посмотрим. Ведь они и проживут недолго — еще месяц-другой — и конец. Могут ли они воспроизводиться?

Меркурий радуется меня интенсивной интеллектуальной и духовной жизнью. Сегодня во время инъекции пытался поймать иглу — не спал. Он все время развивается и пишет, много пишет.

Вряд ли мои гомункулы произвели бы впечатление на Полину, она бы не поверила, что я сам их сделал — из ничего. Но алмаз произведет. Возьму для этого Серу, ей терять нечего.

6. Некоторые этапы интеллектуальной биографии Меркурия

Оп. 1 (сильно вначале тормозивший развитие гомункула, потому что он никак не мог довести его до конца, а доведя — сжег): «Я есть все то, что я не есть. Я должен стать всем тем, что я не есть. Если я стану всем тем, что я не есть, то определится — что же я есть. И тогда я стану тем, что я есть, и тем, что я не есть, т. е. — всем».

Оп. 2. Эссе об инстинктах (короткое, как жизнь гомункулов).

«У человека (или у гомункула, я считаю, что это одно и то же) есть инстинкт накопления времени. Это именно

инстинкт — врожденное стремление — приобретать и копить время. Природа снабдила его памятью — переносным сараем, куда он складывает накопленное время.

Там попеременно лежат поступки, исторические события, путешествия. Все в систематическом порядке, на полках, к которым приклеены этикетки-даты. Там же прочитанное или увиденное в театре или кино. Время прочитанное — более сложное понятие, состоящее из двух неравноценных слагаемых: времени, за которое книга читалась, и времени, о котором пишется в книге. И то и другое одинаково иллюзорны. Человек создал позади себя подпорки, заборы из мнимого времени, чтобы только не видеть, что времени нет, из страха вечности. Без скопленного времени, т.е. без зашифрованных событий, процессов-знаков времени — он беспомощен, он спрашивает, куда ушла жизнь?

Иначе сказать: поступок — эквивалент времени, время в единицах действия. Память сохраняется как нечто, что можно обменять на отрезок времени. Наши интеллектуальные деньги, у которых нет обеспечения.

С этим связан инстинкт разменивать душу. Частный вид — отдавать ее транспорту. Неужели мои соседи, катающиеся по железной дороге, не чувствуют, что за скорость отдают железной коробке душу? Ею пропиталась коробка вагончика, она живее их.

Инстинкт иметь свидетеля...» (рукопись обрывается).

Оп. 3. О Боге.

«Почему я общаюсь с Богом только через боль?» (не окончено).

7. Из дневника Креаторова

15 мая 76. Сегодня письменно проинструктировал Серу. Положил ей в кармашек ломик и пошел с ней в Эрмитаж, в золотой фонд. Там показал ей алмаз. Было трудно, там следят. Потом, перед закрытием, спрятал ее за батареей и ушел. Утром встретимся с ней в вестибюле. Заснуть не должна. Впрыснул ей наркотик. Бедная, ей там страшно, наверно, в темноте.

16 мая. Слава Богу! Алмаз у меня! Милая, дорогая Сера. Она сейчас спит. По-моему, она ко мне привязалась. Как ее благодарить? Иду к Полине.

...Был у Полины. Я не видел ее семь лет. Она замужем. Растолстела. Меня едва узнала. Я понял, что не люблю ее. Не стал даже и показывать алмаз. Верней, вынул все-таки и спросил — как ты думаешь, что это? Она сказала — стекляшка.

Но алмаз теперь надо вернуть. Опять надо мучить Серу.

17 мая. Вынул Серу из ящичка. Поцеловал и прошептал ей на ухо, что она теперь должна положить камень на место. Она пискнула, что ради меня — готова. Опять отнес ее в Эрмитаж, за батареею.

Меркурий меня разочаровал. Он забросил все и сказал, что на свете есть только две интересные вещи — русский театр середины XIX века и алхимия. Хочет производить опыты. Не хватало еще, чтобы гомункул сделал гомункула. Это — дурная бесконечность. Не допущу. Волнуюсь за Серу. Эгоист Меркурий даже не заметил ее исчезновения. Ужасно! Бедная, одинокая, покинутая! Один я люблю ее. Люблю — и подвергаю опасности.

18 мая. Пришел. Алмаз — на месте. Серы нигде нет. Ходил и звал шепотом: «Сера, Сера!» Все тихо. Никто не откликается. Вдруг откуда-то — кошка, в усах — обрывок Сериной юбочки. И служительница говорит: «Наша-то мышь сегодня спымала. Хлеб свой отрабатывает».

Мышь! Мышь!

ЭПИЛОГ

1. Тонкое замечание

«...выражение зада, — продолжал Ваня, — оно гораздо личностнее и откровенней выражения лица. По нему легче узнать характер человека. По выражению зада идущего передо мной человека я могу узнать — добрый ли он, злой ли, коварный ли, даже — верующий ли он. Но это

уже при некоторой привычке к такого рода наблюдениям. Казалось бы, несколько простых линий, может быть — как раз эта примитивность, в отличие от сложности архитектуры лица, и разоблачительна». Ты согласен?

Саша задумался.

— Ты, пожалуй, прав, — сказал он, помолчав. — Вспоминаю теперь, что когда я был в Суворовском у Андруши, он со мной почти не разговаривал и быстро ушел, я смотрел ему вслед — и, действительно, выражение это, о котором ты говоришь, было у него такое печальное и старческое, что я испугался.

Ваня думал о чем-то своем.

— Я тебя давно не видел, — сказал Саша, — как твои изыскания?

— Всё. Никаких изысканий. Я освободился от этого наваждения. Знаешь, перед тем, как покончить с собой, Креаторов, ну Петя — знаешь?

— Как, — поразился Саша, — когда? Я ничего не знаю.

— Да с месяц назад. Он пошел в крематорий, сел там на ступеньки и уколол себя чем-то. Так и умер. После гибели Серы. Гениальный был человек. Но перед смертью подарил мне своих гомункулов и завещал о них заботиться.

2. Новый взрыв

Ну, сначала я и заботился. А потом мне так надоели неотвязные мысли мои о Взрыве, что я, наконец, решил произвести взрыв сам.

— Как то есть сам? — вздрогнул Саша. — Не пугай меня.

— Я сделал бомбочку с грецкий орех и кинул ее в гомункуловы клетки. Простить себе не могу.

Помолчали.

— Все погибли? — спросил Саша.

— Нет, погиб только Карл. А Меркурий бежал, когда взрывом разнесло клетку, я его так и не нашел.

3. Клара

— А что же эта... как ее... Клара? — спросил Саша.

— Клара? Да вон она летает, видишь? Под потолком? На канарейке. Она просила купить ей птичку и летает теперь день и ночь.

— Она страдала? Из-за Карла?

— Ничуть. Ни слезинки ни пролила. Она вообще бессердечная. Я, признаюсь тебе, полюбил ее страстно, как никогда никого не любил. Но она совершенно равнодушна ко мне.

— Ты с ума сошел, — прошептал Саша.

— Нисколько. То, что я ее люблю, — вполне нормально. А вот она — да — она сумасшедшая. Мало того, что она не любит меня, она еще издевается надо мной постоянно. Вот посмотри.

Ваня взял книгу и сделал вид, что читает. В то же мгновение Клара быстро спикировала на канарейке к Ваниной макушке, наввертела себе на ручку прядь Ваниных волос, рванула и, хохоча, взвилась к люстре. Ваня застыл и заплакал.

Саша возмутился и сказал:

— Давай поймаем ее и четвертуем, — он достал перочинный ножик.

— Ты что? — даже вскочил Ваня. — Я ведь тебе сказал, что я люблю ее. И надеюсь своим терпением и кротостью образумить ее. Ну ладно, мне некогда — надо пойти купить для Клары птифуров, она только их и ест. Каждый день по часу в очереди стою. Попробуй не купи. Она меня раз подожгла, когда я спал. Она и канарейку скоро замордует.

Они вышли на улицу. По дороге Саша спросил:

— Что же случилось с Меркурием?

— Не знаю, — сказал Ваня задумчиво, — я искал его, но не нашел. Погиб, наверно.

4. Приключения Меркурия

Нет, он не погиб. Сбежав и вооружившись отломанным взрывной волной кусочком стекла, Меркурий шел

по улице вдоль самых домов, чтобы его ненароком не раздавили прохожие. Стеклом он защищался от кошек. А с голубями ел зерно, те принимали его за воробья-вырожденца.

В некоем здании парадного вида происходило торжественное заседание, доярки, окая, читали отчеты о своих достижениях и что-то обещали. Басили передовики, и вот дали слово очередному такому, но не успел тот даже встать... как вдруг сонный зал услышал писк, неизвестно кем произведенный:

— Вы не видели Бога? — пищало нечто невидимое на весь зал. — Он с иглой, не видали?

Вскочивший президиум, пощипывая себя, смотрел на микрофон, около которого никого не было. Правда, что-то скользнуло по нему — не то солнечный зайчик, не то мышка. Никого. Заседание закрылось по техническим причинам, потрясенные доярки, выходя, крестились и говорили друг другу шепотом, что нечистый, видно, не дремлет и что бабушки им о таком рассказывали.

— Вот он — город-то! — говорили они.

Безумные блуждания Меркурия кончились тем, что он пробрался в порт, спрятался, что ему было нетрудно, на пароходе, как оказалось — иностранном, и уплыл в дальние страны.

Говорят, он связался с каким-то матросом, и тот разбогател, показывая Меркурия в балаганах за деньги. Но я этому не верю. Во-первых, Меркурий не знал ни одного иностранного языка (но могут возразить — он способный), во-вторых — длительность его существования, как известно, не так уж велика (но возразят — Креаторов мог ошибиться в расчетах), да и в-третьих, да и в-четвертых... Может, он вообще бессмертный.

5

Когда Саша опять пришел к Ване, он застал его стоящим на коленях перед маленькой кукольной кроваткой. Ваня всхлипывал:

— Она умирает, — сказал он. — У канарейки в полете не выдержало сердце. Она упала, и Клара разбилась.

Еще дышит, — сказал Ваня. — Ведь я ей говорил, говорил! — Он массировал ее бедное тельце, капал ей лекарств, но ничего не помогало. Он лег лицом на пол и так лежал. Вдруг Клара открыла глазки, совсем мутные, ручка ее приподнялась, потянулась к Ваниной голове и дернулась. Хотела ли она в последний раз вырвать клочок волос или погладить несчастного Ваню и утешить — осталось тайной. Она пискнула и умерла.

— Я не хочу больше жить и не буду, — твердо сказал Ваня.

РАННИЕ РАССКАЗЫ

ПИСЬМО ИЗ ЖЕЛТОГО ДОМА

Найдено в бумагах бывшего начальника овощной базы, а затем сторожа при Кунсткамере, умертвившего себя при попытке выколоть один — правый глаз свой, так как он находил его решительно бесполезным.

Петру Великому, Самодержцу всея Руси.

Петр Алексеевич! Один ты оценить бы мог проекты мои, плод озарений внезапных. Ты, ненавидевший бессмысленную и неопрятную землю. Поля должны порядку подчиняться и колосья как солдаты на параде стоять, а золотые им единообразные мундиры от природы дадены, которая разумной иногда бывает. Но камень — вот единственное дисциплинированное на земле вещество. Город твой — прославление его, но единственен и одинок. Отчего не размножил ты его? Ежели гранит невский разломать на зернышки небольшие да в землю побросать, многие из них возросли бы, и много на земле Петербургов быть могло в назидание хаосу. Многое постиг я в темноте кельи своей, но вот что в основу всего положил:

ПРЕДМЕТЫ, ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ БУДУЧИ, СМЫСЛ СВОЙ НЕПРЕМЕННО МЕНЯЮТ.

Так, ежели вырастить кошку величиной хотя бы с дом двухэтажный, глаза животного равными станут окнам большим и во тьме они натурально светиться будут светом зеленоватым. Ежели кошку преувеличенную привести на берег моря да на цепь посадить, то служить она

может маяком прекрасным. Это и экономия электричества большая.

Второй предмет, который, преувеличен будучи, пользу большую приносить сможет, — кухонная обыкновенная кастрюля. Надежная и устрашающая тюрьма бы вышла — преступников в оную опускали бы на веревках. На прогулки выводить их не надо, так как крышка кастрюльная только на ночь бы закрывалась, днем же в изоляции воздух к преступникам проникал. Побег стал бы делом невероятным, а высота стен, а также блеск ужасный металлический страх громадный на преступников наводил бы и к раскаянью побуждал самых даже закоренелых.

А вчера привиделась мне рыба-сом громадных размеров, шла на хвосте она от Каспийского моря на север и рот разевала, но пользы от оногo сома извлечь не мог. Отчего долго плакал, а потом смеялся до тех пор, пока смех мой не отделился от меня и запрыгал, наподобие лягушки передо мною, вскочив на стол и квакая. Розовый сом был, и горы Уральские ему до плавников доходили, но бесполезный, решительно бесполезный.

Имею еще секретное донесение о том, что видел, зашедши на днях в кунсткамеру: голова Монсихина, из банки выскочив, посетителей подзывала и государственные тайны им рассказывала, какие, в точности не знаю, я подошел когда — ухмыльнулась и «уйди, доносчик» сказала.

Имею еще один проект насчет ношения на голове волос. Отчего не сбрить их совсем? А голову бы семенами полезными засеять, ведь раз волосы на ней растут, то и пшеница может. Это и пользе и красоте бы способствовало. Первое время, чтобы общественное мнение к этому нововведению приучить, надо бы насильственно сеять пшеницу или овес только на тунеядцах. Таким образом они и не работая пользу все же и нехотя бы приносили.

А из сома-то, может, копилку сделать, ежели набальзамировать да в городе поставить, а к нему лестницу, всякий бы для обозрения видов бы подымался и, уходя, пятак в пасть бросал — деньги бы в казну шли на пользу государственную.

Неустанно, неустанно ввинчивается разум мой в неведомое. Раздражает оно меня подобием своим пятну чер-

нильному. Расчислил я сие болото наподобие Васильевского острова. Прикажи освободить меня из темницы, в которую завистью заточен, и множество планов и изобретений великих тебе открою.

1966

О ТОЧКЕ ЗРЕНИЯ

(Интермедия)

Действие происходит в Ледяном доме — свадьба карликов. Все вещи: стол, кровать и др. — должны быть сильно увеличены, чтобы карликов играли люди нормального роста.

ГОЛОСА ЗА СЦЕНОЙ. Плодитесь и размножайтесь!
Пусть молодая нам русского спляшет!

Входят карлик и карлица в подвенечном наряде.

ГОЛОС. Ты смотри, не бей ее.

КАРЛИК. Как не бить — в послушании содержаться будет. И побью иной раз, и приголублю.

За стеной смеются, сквозь лед видны пьяные
подглядывающие рожи.

КАРЛИК (*тихо*). Государыня супруга моя, Татьяна Ивановна, я люблю вас.

КАРЛИЦА. Что вы, они подглядывают, что вы.

КАРЛИК. Я люблю вас. (*Карлица плачет.*) Самая вы прекрасная и дородная и станом всех лутче.

КАРЛИЦА. Вы все шутите. Как все это нехорошо.

КАРЛИК. Чтоб вы мне поверили...

Входит гвардеец — его рост подчеркнут котурнами,
ходулями или еще как-то.

ГВАРДЕЕЦ (*заплетающимся языком*). Что ж вы так долго? Всех заморозили.

Падает и засыпает на пороге.

КАРЛИК. Чтоб вы мне поверили, любезная Татьяна Ивановна, я вам тайну открою страшную. Знаете ли вы, отчего они так злы и сердца у них нет вовсе? Знаете ли вы, супруга моя дражайшая? Видели ли вы в куншткammerе деда моего в сосуде стеклянном? На голову он ниже меня был. На посмеяние выставлен за рост свой малый. Но знаете — открылось вдруг мне, что мы все, карлики, и есть самого соразмерного и нормального росту. А они все — уроды непомерные. И это совсем некрасиво человеку такого огромного роста быть, как они все. Ведь правда?

КАРЛИЦА. Не знаю я, Сергей Иванович, устала я.

КАРЛИК. Так вот, это они, а не мы вовсе, уроды и есть, чуда морские. Их в банке стеклянной держать надо и над огромностью их смеяться. И они это сами знают! Да! Они чувствуют! Оттого они нас так и ненавидят. От уродства сердце их болью и злобой переполнилось и на нас излилось за красоту нашу. За то, ангелица вы моя, страдаете, что собой хороши. А они как отвратительны, как несоразмерны, неуклюжи все! Царица-то их — медведь суший, каких мужик на рынке плясать заставлял. Да и сильны, как медведи. Да говорят — страна есть, где карлы одни живут — люди то есть обыкновенные, и никто их там не мучает, никто не смеется, сами себе хозяйева. И все там маленькое, веши все, чашечки, ложечки. Уедем в ту страну — Африкандию. Деньги у меня приготовлены, скоплены, да напоследок изловим урода какого-нибудь здоровенного да на цепь посадим. И будем в той стране за деньги показывать и плясать заставлять. Слышите, Татьяна Ивановна? Уедем?

КАРЛИЦА. Отчего вы злой такой? Уедем, Сергей Иванович, только без урода. Жалко и урода тоже. Сами, одни уедем (*плачет*).

1966

УЙДИ, НЕ СНИСЬ, КРЫСИНЫЙ ХВОСТИК

Три дня он бегал по комиссионным и все продавал. Продавщицы презирали его поношенные вещи и его са-

мого, такого же. Дома было пусто и холодно, выпить нечего, и когда он уснул, то стали сниться ему страшные сны. Снилось ему сначала, будто стоит он на полке в комиссионном магазине, стоит неподвижно, и надпись под ним — рубль. Но все проходят мимо, брезгливо смотря на него, проходят, проплывают, и никому он не нужен даже и за рубль. «Да вчера на рынке таких вот продавали сколько хошь по тридцать копеек, а за этого рубль плати», — говорит, проходя, пожилая женщина в белом платке.

За окном льет дождик, все проходят, проплывают, как дождь, только не вниз, а в сторону. Вдруг замечает он какое-то странное смятение, смотрят все куда-то в одну сторону, замерев, готовые броситься вперед по какому-то неведомому сигналу. И закричал кто-то: «Покупают! Покупают!» Бросились все куда-то. Сошел и он с полки и пошел в ту сторону, куда и все — что это там покупают? Деньги-то ой как нужны. Видит — эстрада стоит деревянная, вокруг толпа, волнуется вся, шелестит. На эстраде девушка стоит и молчит, а из толпы ее спрашивают: правда ли, что покупают? Правда ли, что по семьдесят рублей дают? «Подождите, товарищи, не нервничайте, сейчас всё узнаете», — говорит она, причастная к тайне. Все стоят, ждут. Наконец что-то зашумело за кулисами, приближаясь. Вынесли на сцену стол, вышли люди в черных костюмах, за стол сели. Один из этих людей встал и говорит:

«Товарищи, мы — комиссия по покупке крыс. Дело это новое, работаем мы в экспериментальном порядке, всё, так сказать, внове. Сегодня покупать будем крыс любой породы по 75 рублей за штуку». Толпа радостно загудела, заулыбалась. «Но, граждане, должен вас предупредить, что крысы должны быть в санитарном виде, в антисанитарном состоянии покупать не будем. Галя, продемонстрируйте, пожалуйста, крысу в том виде, в каком она может быть куплена». Из-за кулис вышла девушка, неся в руке бумажный пакет, из которого она вынула обезглавленную, но очень чистую крысу, правда, несколько капель крови видны были в том месте, где голова соединялась с туловищем. Тут ему стало очень тошно, он отошел в сторону, и его вырвало, потом он снова вернулся в толпу. «Спокойно, — говорил он се-

бе, — конечно, противно, но что сделаешь? Ведь так дорого платят, за крысу паршивую столько денег. Вон и люди, ведь им тоже противно, а стоят, не уходят. Двадцать крыс — и машину купить можно. Вот только голову я отрубить не смогу, этого я вот не смогу. Но надо ведь...»

Тут из толпы кто-то крикнул: «Скажите, а обязательно без головы сдавать?»

«Нет, граждане, — ответил человек в черном костюме, — не обязательно. Мы принимаем крыс как с головой, так и без нее. Однако должен вам заметить, что за первых мы платим на три рубля больше, чем за вторых. — Он полез в карман, достал оттуда что-то маленькое, серое и сказал: — За голову мы платим три рубля».

«А как их ловить?» — шепотом спросил кто-то в толпе, а потом опять кто-то громко спросил об этом.

«А это уж зависит от смекалки и изобретательности каждого из вас, товарищи, но могу сообщить вам один довольно простой способ ловки: вы должны купить уже мертвую крысу и использовать в виде приманки».

Тут появился человек с лотком на шее: «Кому крысы свежие, дешевые! Кому крысы свежие, дешевые!»

Все бросились к нему. Он видел, как люди отходили от продавца с крысами, завернутыми в бумагу. Бумага была красная от крови, и из нее торчал красный тоненький хвостик.

Его опять вырвало. Потом он встал в очередь и через полчаса получил свою крысу, мягкую, как котлета, и пошел, куда шли все, куда-то на окраину, где водились крысы. Он подумал, что крысы ведь чувствуют надвигающуюся беду, они знают, когда корабль утонет или когда их будут ловить, и давно ушли куда-то в другой город.

1970

СНЫ

Мне было стыдно так долго, что я стала бесстыжей. Музыка вдалеке, скрипач на потолке, он играет. Уйдите все, я так счастлива, мне некогда помнить, я все забыла.

Лучше уснуть. Глубже, на самое дно, где ржавый скелет позабытого, где корветы — это еще похоже на детскую энциклопедию — так подробно, так красиво, — корабли, птицы, бусы, электрические провода, по которым течет белый молочный ток.

Желтый сухой ветер, смерч, встающий посреди двора, повозки, летящие по улицам без лошадей, без людей. Вместо земли — лимонная корка.

Ни одного человека на свете, я одна, совсем не страшно, хотя я вижу, как по небу плывет отрубленная голова. Голова живая и красивая, летчик без самолета. Отрублена наискось. Летит и смотрит вдаль туманными глазами фанатика. Ты, бедная, знала, для чего тебя отрубили. Из шеи медленно падают бомбы, кружась, как листья.

Каждую ночь мне снится дом, где я жила в детстве. Болят его двери, гноятся окна, орел железный над воротами вывихнул шею. Я его навестила. Не снись мне больше. Правда, я была пьяная и упала посреди двора.

Снег таял и чернел от слез. Дом, похожий сверху на иероглиф, шумел надо мной.

Я пришла домой вся в бутылочных стеклах, мама вынимала их из горла, а я ничего не замечала.

Опустевший город, все тот же ветер желтый, опрокинутые повозки, навстречу бегут три крысы и два испуганных большеглазых котенка за ними.

На булочной вывеска, на ней надпись: «Бог + ангелы».

Я лежу больная вся в бинтах, перед кроватью человек в галифе, очень противный, на коленях. «Я люблю его», — говорю я всем, почему-то указывая на него пальцем.

Ветер желтый, как свет в окнах в сумерки. Когда в сумерки в окнах горит свет, кажется, что комнаты до краев залиты чаем. Спускается ангел, снимает свою голубую кожу, расстегивает позвоночник и уходит в реку.

БОЛЕЗНЬ

Как сытая желтая корова лежала его толстая шея на воротнике и не шевелилась пока. А он ждал, пил жирный шоколад из фарфоровой чашки и ждал, сидя на циновке в своей лавке, где торговал раньше свечами. Теперь они стояли вокруг него, никому не нужные, целые рощи белых обыкновенных свечей, свечи огромные, как бочки, или с острыми наконечниками для именинных пирогов. Как вдруг тело его дернулось, как дергается поезд перед отправлением, шея начала медленно припухать, и все тело его вдруг хлынуло, разрывая костюм, вдруг побежало, как иногда убегает тесто, забытое хозяйкой. Он заорал дико и схватил лежавший перед ним пистолет, который становился все меньше и меньше в его вспухающей руке. Он выстрелил несколько раз в сердце и все-таки еще живой рванулся в дверь, она была ему по грудь теперь, проломил стену и упал на улицу, где уже лежало много других трупов, огромных и розовых, как пироги.

А первой была монахиня, которая позапрошлой ночью вдруг начала расти во все стороны, пока не затопила собой весь монастырь. Сестры проснулись оттого, что в их кельи что-то мерно и глухо било все сильнее. Думали — наводнение. Зажгли свечи и увидели клубящиеся в дверях валы тяжелой человеческой плоти. Кто выбрасывался в окошко, кто залезал под кровать, крестясь. А она все металась, не понимая, что с ней. Раньше она была самая маленькая и незаметная и любила вязать. Наконец она проломила стены, и тяжелый купол разбитого монастыря упал ей на грудь, как лифчик.

А теперь в городе все умерли, и над трупами носилось странное существо, одетое в тело голубое и легкое, как пламя свечи. «Зачем, — бормотало оно, — жадная плоть поедает душу, без которой не может жить? Отчего всякая новорожденная душа сразу подергивается плотью?» Стояла жара. Существо это, похожее на кузнечика, еще покружилось и улетело.

ОГОНЬ НЕБЕСНЫЙ

На телеге стояла лошадь. Молчаливая толпа бежала за телегой и громко дышала, и гнедая лошадь высоко поднимала морду, чтобы дыхание их не касалось ее ноздрей. В бочке, налитой до краев водой, дымилась черная и слепая женщина. Она горела, как горит нефть в озерах, хотя вода в бочке была холодная и темная. За телегой в два ряда шли монахини и молились вполголоса, как жужжат пчелы. Цокали копыта, и шипела женщина в бочке, догорая.

В тот день в зимнем южном городе из окна кирпичного монастыря вдруг пошел дым. Монахини с ведрами бросились к двери, из-под которой шел дым, и увидели, что деревянный стол, кровать, образ стояли себе целехоньки, а на полу лежала и горела монахиня, известная своим примерным поведением и долгими постами. Сухо потрескивала кожа, монахиня уже не вопила, а только тихо мычала, сжав губы. Волосы ее сгорели, и на голове красная кожа потрескалась. Вода помогла лишь немного. Вдруг монахиня открыла рот и сказала голосом, шелестящим, как хлопья сгоревшей бумаги:

— Отнесите меня в церковь Вознесения. Да в бочку, дуры, с водой посадите.

В церкви ее отнесли в помещение за алтарем, она перестала гореть, ее вынули из бочки, она легла обугленная прямо на пол перед иконой и сказала, что хочет исповедаться. С крестом подошел к ней священник:

— Покайся, какой невозможный грех ты совершила, что Господь при жизни ввергнул тебя в геенну огненную?

— Послушай, — сказала она внезапно ясным и звонким голосом. — Двадцать лет я вела жизнь праведную, в молитве и постах, вся высохла и пожелтела, перепутала ночь и день. И за это сошла на меня благодать. Голова закружилась, и я увидела под ногами своими облака. И справа, и слева, и надо мной были облака, и между ними узкий переулочек, по которому я шла. И в конце его на краю неба сидел Господь в окружении ангелов, и от крыльев их шел пар, как от кипятка. Господь сидел за деревянным столом, ангелы стояли на коленях, над ними чуть пошатывалось закатное солнце. Ангелы стояли на

коленях перед солнцем, как перед большой коровой, и доили его в кувшины. И когда кувшины наполнились до краев маслянистым закатом, ангелы поставили их перед Господом. Один из них сказал: «Пей, Господи». Господь поднес вино к губам, и другие все тоже. Вдруг он взглянул на меня, озноб прошел по моей коже и стало жарко внутри, а снаружи холодно. Господь сказал: «Выпей с нами. Твое здоровье». Но я не могла сделать ни шагу, хотя и старалась, а только смотрела на него. Тогда один из ангелов подошел ко мне и протянул крыло. «Что ты делаешь! — закричали все. — Она ведь еще земная». Но он уже дотронулся до меня, и рука моя вспыхнула, как сухое дерево. И все кончилось. Ни о чем не жалею.

— Господь с тобою, Господь с тобою, — бормотал священник, крестясь. И, тяжело поворотившись на коленях к иконе, шептал молитвы, не зная, верить или нет. Над ним висел Христос, тусклый, спокойный и строгий. Пламя желтых свечей качалось в его голубых глазах.

— Открой мне, господи, — бормотал старик, — отчего так переменчиво лицо твое. Дай мне увидеть тебя и потом сожги, если хочешь. Отчего ты переменчив, как девица, не вошедшая в возраст? Или и у тебя есть времена года? И жестокость находит на тебя, как осень, беспричинно?

В храме было много народу, тесно и душно. Люди касались друг друга плечами, дышали друг другу в затылок и не сторонились, но им все равно было страшно, потому что нет ничего страшнее чуда. Всю ночь они молились в этой маленькой церкви в конце переулка на горке. Иногда кто-нибудь тихо выскальзывал за дверь, и на его место вползала другая тень с улицы. Под утро, когда голые кусты и крест на церкви четко были видны на светлеющем небе, блудница, усталая и не нашедшая себе в эту ночь работы, сидела на паперти и ждала, когда можно будет войти помолиться. Ветер поднимал ее волосы дыбом, небо розовело, губы ее были бледнее рассвета. Она вдруг встала на колени прямо на каменных ступенях и долго молилась, хотя думала, что Господь там в церкви со многими, а не с ней одной на холодной улице.

— Не покидай меня, Господи, — сказала она напоследок, — не покидай меня на рассвете, когда так сухо в горле и голова болит с похмелья.

Она встала с колен и увидела, что совсем уже утро и наступает весна. Она побрела домой, касаясь рукою теплых веток. И не было на душе ее грехов ни прошлых, ни будущих.

А в горах над городом плавали люди с крыльями, невидимые никому.

— Прощай, — говорили они человеку без крыльев, плачущему, розовому, в белой рубаше — провинившемуся ангелу, который протянул крыло женщине. Господь превратил его в человека. — Прощай, — говорили ангелы и тихо подымались, не качая крыльями, уплывали вверх. Последний, морщась и чернея, махнул крылом пред лицом провинившегося, и тот потерял память и побрел по тропинке в тумане, уже не плача.

Наступала весна. Зеленые листья с шипением вылетали из почек.

1967

БАБУШКА

Страшно было умирать бабушке. Бедная черная бабушка, ворона в платочке, волк в чепчике, мне всегда жалче птиц и волков больше, чем людей. Страшно было умирать бабушке. «Все умрут, все умрут!» — кричала она, умирая. Озлобленная тюрьмой и ссылкой, да и вообще не больно-то добрая, этим она утешалась. Ей нельзя было жить в Ленинграде, но она все-таки жила здесь. Она очень любила своего пятилетнего внука. Когда нянька водила его гулять, бабушка шла сзади, чтоб ее не узнали, и смотрела на него. «Все умрут, все умрут», — кричала она в бреду, внук ее проснулся однажды ночью от ее крика и оставил себе на завтра подумать о том, что это значит — все умрут.

Но завтра его увели к знакомым и оставили там на несколько дней, а когда он вернулся, сказали, что бабушка уехала. Вот и хорошо, подумал он, что она больше не лежит целыми днями, а ходит, как все люди. А потом

ночью он вдруг подумал : что это — все умрут? И я умру, выходит. Он знал до этого, что люди умирают, и видел скелеты и гробы на рисунках, но все это как-то его не касалось. Он думал — есть люди живые и есть люди мертвые, разные породы людей, как у собак — бульдоги и таксы. Я родился живым, мне повезло. А бабушка говорит — все умрут, значит, и я, и она, и мама? И каждого положат в такую коробку, заруют в землю, каждого отдельно, и лежи там. Умереть — это значит — кожа с тебя упадет и ты останешься в одних костях. Умереть — это все равно что повзрослеть, делов-то. По расписанию, сначала ты ребенок, взрослый потом, а потом мертвый — просто еще взрослее. «Мама, — сказал он, высунувшись из-под одеяла, — а может, бабушка умерла?» — «Да, — ответила она, — кто тебе сказал?» — «Я догадался. Слушай, а я тоже умру?» — «Не знаю, может быть, и нет». Он лежал и глядел в темноту, ему вдруг стало так страшно, что даже говорить он не мог. Я такой теплый, такой живой, такой хороший. Мои бедные ребра. В темноте. В доме напротив горело окно, ходили какие-то тени. Он вдруг понял — она нас заразила. Мы были живые, а она заразила нас смертью, и будем все лежать в темноте, в коробке. «Противная бабка, дура», — бормотал он и плакал.

1967

СОСЕДКА

Будто чувствовала она, что скоро умрет и замолчит навеки, так много говорила она и рассказывала. Но рассказывать ей было нечего, она говорила первое, что придет в голову, она думала вслух, и думала так постоянно и на людях, что соседи трусливо бежали из кухни, едва ее завидев.

А муж у нее был молчаливый и добычливый пенсионер, дома он бывал мало, все ходил по разным инстанциям, добывая разные блага. Еще он пил тайком, копя сдачу от ежедневных покупок.

А Елизавета Петровна подстерегала соседей на кухне и начинала говорить и говорить, и уйти никак нельзя было, потому что она не делала пауз, разве что просто повернуться и уйти — но ведь это неудобно. Она говорила, и вид у нее был бессмысленный и радостный, и смотрела она как-то лукаво всегда, будто на что-то намекала. А когда все-таки оставалась Елизавета Петровна одна, то слышно было, что она поет, и если выйти на кухню, то тут она с тобой не заговорит, а допоет сначала. И вот сидит она на стуле у окошка и поет: «Выхожу один я на дорогу».

А перед смертью совсем она заскучала и уж не на кухне сидела, а ко всем в гости ходила. Зашла она к Петровым, а у них девочка маленькая одна дома, цветочки на окнах поливает. Входит Елизавета Петровна и говорит:

— Цветочки поливаешь, Настенька, хорошая ты девочка, умница, я тоже всегда цветочки поливала, когда маленькая была. А потом как выросла и работать пошла, так уж и перестала поливать. Да, лорнет у меня был и собачка. Собачка померла. Работала я у Павлова, вот теперь уж все умерли, кто с ним работал, я одна осталась. Цветочки — это хорошо, мамочка моя их любила, только не такие, как ты поливаешь, а луговые, ромашки, васильки. Песня есть такая — «Олечка рвет васильки...» Ах, бедная мамочка, как она меня любила, уж больше мамочки никто тебя любить не будет, люби свою мамочку, береги ее. Свою мамочку люби, люби, люби, уважай, — и долго она еще так говорила, глядя лукаво на девочку, которая строила что-то из кубиков и совсем не слушала ее.

А потом пришел ее муж и сказал:

— Лизанька, Лизончик, пойдем.

И они ушли.

А за день перед тем, как с ней удар случился и отправили ее в больницу, сидела она на кухне, положив ногу на ногу, курила папиросы и говорила одну только фразу: «Как хорошо, что революция победила! Как хорошо!» — сидела и ждала, пока на кухню не вышла другая соседка, женщина лет около сорока, работавшая судомойкой в детском саду.

Женщина эта вышла и начала картошку чистить, опасливо косясь на Елизавету Петровну и боясь ее спросить о чем-нибудь, о здоровье, как полагается, потому что потом уже ее не остановить. Но Елизавета Петровна молчала и смотрела на соседку очень задумчиво, напряженно думая о чем-то. Вдруг встала она, близко-близко подошла к соседке, так, что та даже картошку чистить перестала, бросила нож и посмотрела на Елизавету Петровну.

— Как вы себя чувствуете, Елизавета Петровна? — спросила она тихо.

Та сурово взглянула на нее и сказала строго, глядя в глаза:

— Давайте говорить по-французски.

— Я не умею, — ответила испуганная соседка.

— Вот дура-то! — сказала Елизавета Петровна и, напевая что-то вроде «парле ву франсе» и дымя папиросой, отошла и села на свой стул снова.

Обиженная соседка хотела ее тоже как следует выругать, но вдруг испугалась чего-то и просто ушла из кухни.

А когда вернулась погода, видит, что на кухне сидит старичок, единственный, с кем Елизавета Петровна говорить много стеснялась и робко всегда на него посматривала. А у старичка был свой участочек за городом и своя картошка, которую он старался всем соседям дорого очень продать, и все с ним торговались, но Елизавета Петровна безропотно ее покупала.

Когда соседка-судомойка вошла и стала молча и напряженно снова чистить картошку, слышала она, как старичок говорил:

— Ох, хорошая ты баба, Елизавета Петровна, в гимназии обучалась, умная ты и говоришь складно, вот же-нился бы на тебе, кабы раньше встретил.

— Да что вы, Григорий Петрович!

— Ей-богу, любо с тобой поговорить, я вообще с бабами люблю...

— Как, до сих пор?

— Да нет, поговорить, — сказал старичок.

И вдруг Елизавета Петровна встала очень прямо и сказала:

— Не носи, не буду больше у тебя покупать, дорогая очень.

Старичок очень изумился, побледнел даже и сказал:

— Да как же это? Что это?

— Не буду больше у тебя картофель покупать.

И тут изумленная судомойка услышала, как старичок тихо всхлипнул, и, подняв голову, увидела, что он слезами плачет.

Потом он слезы вытер и сказал сурово:

— Ты помни только, Елизавета, что все помирать будем и все Богу ответ дадим, — и вышел.

Потом вернулся и сказал, просовывая голову в дверь:

— Или ты вечно жить собралась? — и, хихикнув, скрылся.

Елизавета Петровна тоже ушла, напевая что-то.

А на следующий день увезли ее в больницу. Полежала она там и умерла. А мужа ее положили тоже, в психиатрическую, но он оттуда скоро вернулся и рассказал, что Елизавета Петровна долго, бедная, мучилась и кричала, а врачей будто не было, и никто ей боль не облегчил, и поэтому, когда померла она, он стал там стекла бить и врачей ругать. Его и положили в больницу.

— Теперь и мне умирать нужно, — сказал он.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ
В ДУРНУЮ ПОГОДУ**
(Крошечные эссе)

Кругатура

Квадрат — это круг с крылышками.

Бог не сентиментален

Бог не сентиментален.

Сложный человек

Я — сложный человек. Бессознательное у меня — как у человека дородового общества, сознание — средневековое, а глаз — барочный.

Гласная

Гласная, бесконечно продолжаясь, теряет телесность и становится воздушным существом, ангелом. Гласные, вместе, в особом порядке произнесенные, должны обладать магической силой. И обладают. Я знаю этот порядок, но стараюсь забыть, в знании этого секрета — много опасностей.

Самовоспитание

Еще в раннем детстве у меня появилась странная привычка: если мне в голову приходили дурные мысли, я

тут же больно себя щелкала в щеку. Самовоспитание, впрочем, не очень строгое — оно, может быть, заменяло мне воспитание извне.

Способ

В еще более раннем детстве мне показалось, что смерти можно избежать очень простым способом, что есть какое-то движение, действие, которое, если повторять его очень долго — то не умрешь. Например, если качать ногой сутки или еще что-нибудь в этом роде. Я бы стала искать и испытывать это средство, но поняла, что если это и спасет — то меня, только меня.

Даже

Забыла, что до щелчка — иногда хлестала себя даже ремнем. Но быстро прекратила это изуверство. Ведь дурные мысли иногда приходили в голову в школе, например, на людях.

Луч

Как я поверила. Мне было лет тринадцать. Я сидела у окна, боком к нему, и вдруг почувствовала, что занавеску как бы пронзил луч и что он вошел в мой левый висок. Это был не солнечный луч, кажется, все происходило поздним вечером.

Все в моей жизни сразу переменялось, я стала иначе видеть и понимать, это была как бы нить в невидимое.

Позже (гораздо) я увидела одну средневековую миниатюру, где был изображен молящийся царь Давид, там было нарисовано именно это — луч через занавесь входил ему в висок.

Тошнота

Когда я впервые попыталась писать стихи, лет в 12, я пошла по неправильному пути. В чем заключалась эта

неправильность — не знаю, неправда в них была, что ли. Когда я их сочинила, меня стало страшно рвать, и долго было противно даже думать о стихах. Пока они сами внутри не нашли нужного источника. Он открылся от звяканья ключа о что-то металлическое. И всю жизнь потом я была, наоборот, счастлива, когда они сочинялись, и болела, когда не было вдохновения. Если бы мне не стало тогда плохо, может быть, я лгала бы всю жизнь и зачахла бы.

Кто восхищает

Из всех людей больше всех меня восхищают:

Моисей, Иов, Франциск Ассизский,

Тот, кто предпочел укрыться за псевдонимом Шекспир, Цветаева, Александр Македонский, Достоевский, К.-Г. Юнг и Андрей Белый. И Пифагор.

А раньше еще — Хлебников и Мейерхольд. И Ван-Гог.

А еще раньше — Савонарола.

Вчера

Свою жизнь я могла бы описать и как прекрасную, и как ужасную, и как отвратительную — в зависимости от того, каким был вчерашний день.

Буквитальность

Буквитальность — букв витальность. В стихах, в идеале, буквы должны быть разного цвета, размера и формы. Они должны зависеть от сути и помогать ей.

Мучение

Последнее время (год или больше) душа моя мечется между тройкой и четверкой. Я не знаю — почему это так важно для меня, но знаю — что от выбора зависит вся

моя жизнь (и больше, чем жизнь). Битва между ними (а может, и не битва, а сговор, может, одна из них передает меня другой) происходит все время, но явной для ума становится во сне. Они являются мне под разными личинами, то трамваем номер три, который должен спасти меня из ужасной ситуации, то квадратным двором, то еще как-нибудь. Может быть, я не вполне понимаю Марию Пророчицу — «Три это четыре как целое». И душа моя хочет понять это, но не может. Это — мое мучение.

Еда для детей

Русская поэзия — такой сложный миф — с ее чудищами и невинными жертвами, ухающей в ночи совой и Дервишем. Видно, мифотворчество тоже один из наших инстинктов. Мы и свою жизнь и чужую не можем иначе осмыслить, чем как миф. И культура, и история — все это мифы. Это — единственная форма переработки реальности, делающая ее хоть сколько-нибудь удобоваримой, вроде еды для детей.

Нарост

Желание славы как желание уродливого нароста. Люди — почти все — кротко уходят и растворяются во тьме, а ты один хочешь торчать как пень.

Начало авиации

Летатель-первенец Латам
С сигарой в облаках летал,
За ним мадмуазель Лярош...

Что наверху, то и внизу, и наоборот

У всего есть небесный двойник. Св. Тереза и Иоанн Креститель Леонардо намекают на иное, горнее сладостра-

стие, где, может быть, экстаз происходит от смешения аур.

Доказательство божественной природы каждого

Хорошо, что каждый (и самый жалкий) считает себя лучше и важнее всех, в этом — доказательство, что в каждом Бог.

Яма

В гневе и вдохновении я кажусь себе Ямой, как на тибетских иконах (кажется, Лютер говорил, что по-настоящему живет, когда гневается), с клыками и слононогим, и в кулаке по человечку. И вообще, я чаще всего изнутри кажусь себе мужчиной или ребенком, женщиной очень редко и как бы ради обмана. Когда в меня входит Яма, то я становлюсь пространством.

Нет ногтей у меня острых, Цвета окон на закате...

У меня почти нет ногтей. Много раз пыталась их отрастить, но бросила эту затею. Все грызу и грызу. Зато я одна такая, нет больше здоровой женщины в возрасте от 15 до бесконечности, у которой они были бы так постыдно уничтожены. Это моя единственная телесная странность. Впрочем, нет — душевные аномалии порождают и физические. Например, иногда один из пальцев на левой руке как бы начинает видеть, при этом он немеет. Тогда я, проходя мимо нашего почтового ящика, протягиваю к нему руку и узнаю, не глядя, есть там что-нибудь или нет.

Опасное внимание

Можно подумать, что я склонна к самолюбованию. Скорее я пристально вглядываюсь в себя с опасным вни-

манием экспериментатора, с каким он может следить за животным, опыты над которым наконец-то начали подтверждать теорию.

Мой дом

Первые четырнадцать лет своей жизни я прожила в Египетском доме, на Каляевой. Вместо атлантов там — огромные фараоны, и на воротах Тот (в виде сокола). Как будто провела детство в пирамиде.

Вдруг ничего не будет?

В юности человек больше всего боится, что с ним вообще ничего не произойдет. Это оттого, что он одинок, а для всякой драмы нужны протагонисты. Но он может не беспокоиться на этот счет, они найдутся...

Музыка

Еще похожа музыка на то, как бабу пьяную ведут ее два сына, она то в плач, то в смех, то клонится упрямо, они же, опустив глаза, ее ведут — ну, мама, мама...

Тот, кто стыдится больше, — тот ум, а другой — чувство. В книге об Инквизиции я видела картинку, как два мужичка ведут под руки одержимую, и это навело меня на мысль о музыке и вообще — о творчестве. Мне во вдохновении часто хочется, чтоб меня поддерживали, чтобы кто-то был рядом, но если б это случилось, оно бы исчезло. Во вдохновении трудно стоять и трудно быть неподвижной, и подвижной трудно, лишаешься всех земных сил, отдаешь их чему-то, потому и хочется, чтобы поддерживали. В творчестве (и в святости тоже) — много женственного, и то и другое — восприятие силы. Да человек и вообще — женщина по отношению к Богу.

Роман воспитания

Библия, да не зачтется мне это в кощунство, есть, в одном из аспектов, гигантский роман воспитания. Мы видим там рост Бога. Как он из грозного Ягве через собеседника Иова вырастает в Христа.

Невидимое тело

Можно представить Ветхий завет в виде чудовищно разросшейся Помпеи, где множество поверженных тел, скрученных, разбросанных вихрем, изнемогших в борьбе с Богом. Если бы было возможно залить их, как тела помпейцев, гипсом, то обнаружилось бы, может быть, другое огромное тело — в пустотах. Тело Того, кто боролся с ними.

Ласточки чертят сети, или Виамантия

Ласточки чертят сети, мы не умеем понять смысла их полета.

Авгуры умели распознавать его. Если прочертить сеть перемещений какого-нибудь человека за его жизнь, нельзя ли понять тайну и суть его жизни? Даже в неперемещении есть смысл: в пребывании в точке (например, Кант).

Чертеж перемещений возникает из свободы воли и Рока. Часто то, что кажется первым, оказывается вторым, их трудно отличить. К примеру — Наполеон. Он все кружил большими кругами, а потом вдруг — как полет из пращи — поход на Восток. Можно было заранее, пользуясь только средствами виамантии, предсказать — исход гибельный.

В пользу Юнга

Однажды мне приснилась моя покойная тетя и сказала мне: «Не беспокойся за меня, я за тупым углом». Я проснулась и никак не могла понять, что это значит.

Через несколько дней купила случайно Николая Кузанского, никогда его перед тем не читала. И вдруг в священном ужасе читаю у него про углы. Тупой угол значит у него — угол существования. За тупым углом — у Бога, значит. Все это могло случиться потому, что Юнг прав — и в бессознательном у нас все знание человечества (по крайней мере). И мертвые могут брать из этой копилки, и мы сами.

Коротко о демонах

Сказано — «при конце мира демоны будут как люди». Они и так — люди. История «человечества» началась, мне кажется, с восстания Люцифера. Земля была задумана чем-то вроде трудового воспитательного лагеря для павших демонов, как возможность спасения для тех из них, кто пожелает искупить свой великий грех. Они могут это сделать лишь пройдя через кольцо человеческой жизни и очиститься и стать снова ангелом или снова (при неудаче) вернуться в новую жизнь. А бесы-искусители — это те, кто не желает прощения такой ценой или вообще не желает и всячески старается помешать тем, кто отважился, так называемым «людям».

В позднем отрочестве (или ранней юности)

В позднем отрочестве возникает чувство обыденности, рутинности жизни. Начинает мучить скука мнимой вечности, безысходность будничности. Это проходит при первых потерях и пробуждении другого чувства — скольжения в смерть и мгновенности жизни. Это первое ощущение обыденности — как бы бомба с часовым механизмом, взрывающаяся именно в определенном возрасте в человеке, для того чтобы он искал перемен, судьбы.

Белый — справа и глубоко

У рассудка есть своя география, подобие карты. Одних людей достаешь из левой части головы, а других — из

правой. Скажем, Белый — в моем мозгу — справа от центра и глубоко, а Вигель, например, слева и на поверхности. Так же и земли мы помещаем в определенном участке воображаемой головы (с реальной деятельностью полушарий это, наверно, не имеет связи). А иногда, случается, и перемещаем. Так, когда я читала о Керженце у Мельникова-Печерского, Керженец поместился градусах в 60 от центра, а когда у Короленко — сдвинулся градусов на 15.

Инстинкт иметь свидетеля

Уверена, что это — именно инстинкт. Есть люди, которых мы выбираем в свидетели своей жизни. Но даже когда их нет, мы порождаем некие духовные существа, свидетелей. Но ангел не может быть свидетелем наших поступков в том смысле, в каком люди могут быть ими. Он не может стоять справа, слева, он видит, наверно, энергетически — разреженность, сгущенность, затемненность или свет, или — замыкание. Дух не видит человека сидящим на горшке, например, а видит в этот миг — затухание духовной энергии и т.д.

Перестать быть мыслимым

Бог, как существо совершенное, должен включать в себя все мыслимые категории и, следовательно, зло. Это следует из доказательства по совершенству, если он предел жара, то и холода, если добра, то и зла. Но зло он вырвал из себя, отверг, оно стало плотью. И должно вернуться к Богу преображенным. Оно должно перестать быть мыслимым.

Издеваться над грехами

Я так себе представляю великого грешника — он, собственно, и не грешник, а великий святой, который настолько свят в сердцевине, что ему грех ни во что. Он

может грешить, издеваясь над грехами и Дьяволом, доказывая бессилие греха достигнуть до светлого центра и замутить свет. Но это можно представить себе чисто теоретически.

Зеркало

Я стала гораздо спокойнее в общении с людьми, когда поняла, что можно смотреть в них, как в зеркало, и дать им смотреть в себя так же. Но все зависит от качества зеркальной поверхности. В силу этого же люди мне не столько интересны сами по себе (хотя бывает — что интересны), но скорей — насколько я сама интересна себе в их присутствии.

Полеты с полки

Два раза в жизни я падала с верхней полки (возможно, что и еще упаду, у меня все бывает по три раза). Один раз — я стояла на коленях, собирая вещи, поезд въезжал в Крым. Вдруг его резко дернуло, и я полетела по дуге вниз головой, как падший ангел. И врезалась переносицей в нижнюю полку.

Другой раз попался мерзавец сосед, я ехала с пуделем Яшей, а сосед сказал, что он с собакой в одном купе не поедет. Я была очень пьяной и стала его всячески ругать. Не знаю, чем бы это кончилось, пахло уже милицией, но тут дама, ехавшая в двойном купе, предложила мне перейти к ней, сказав, что и ее собственная дочка тоже может попасть в такое же положение. Я положила Яшу на верхнюю полку, улеглась рядом и заснула мертвым сном. Ночью я проснулась от страшной жажды. Было беспросветно темно. Я не могла вспомнить, где я, с трудом поняла, что, кажется, в поезде и что у меня билет на нижнюю полку. На подушке я почувствовала чью-то курчавую голову, долго силилась вспомнить, кто это, но не могла. На всякий случай я сказала ей: «Извините, я сейчас» — и непринужденно сошла с верхней полки, как с нижней. В полете я вспомнила все, и даже кому при-

надлежит курчавая голова. Но было поздно. Мне повезло, я мягко скользнула по стене и отлетела от нее прямо на спящую даму, ужас которой я не в силах описать.

Чтобы к этому не возвращаться.

Со мной случались в жизни подобные вещи, кончались — тьфу-тьфу — благополучно; однажды на уроке рисования я проглотила бритву, кусая ее в задумчивости вместо карандаша.

Марионетка

Иногда я становлюсь своей собственной марионеткой. Я просто приказываю, подчиняясь в свою очередь чему-то в себе, и делаю уже не размышляя и даже ничего не чувствуя. Но это не значит, увы, что в этот момент я только своя марионетка, возможно, чья-то еще.

Что болит

Как ни странно, душевное состояние человека обычно гораздо понятнее нам, чем физическое. Очень трудно представить себе чужую телесную боль или неудобство. Можно догадаться, что беспокоит человека душевно, но догадайся — что у него болит или что ему мешает. Указывает ли это на реальность коллективного бессознательного и на нереальность единичного физического?

Сладостное ла

Женское глагольное окончание, воспетое Вячеславом Ивановым, долго смущало меня. Мужское гораздо нейтральнее, оттого что привычнее. О другой можно спокойно писать, но о себе — пришла, увидела, победила — в этом есть что-то неуловимо комическое. С трудом победила я это. Раньше, возможно чтобы избежать этого *ла*, я писала обо всем, кроме себя, а потом — ни о чем, кроме себя.

Апория

Но что есть я? Если я — все то, что я не есть, то все то, что не я — я. Или либо меня нет вообще, либо я все, что то же самое.

Прошлое будущее

Возможно ли родиться в прошлом? Т. е., конечно, в другом рождении. В промежутке, где нет времени, может что-нибудь перепутаться, и, кроме того, в прошлом может быть больше возможностей развития для моего духа. Это только для всего человечества обязательно прямолинейное движение в будущее, а для индивидуума — необязательно.

Экология

Все, что происходит с природой сейчас, — может быть, ее попытка покончить с собой, пользуясь человеком как орудием. Он только открыл выход ее гибельным токам, тайным ядам. Возможно, она самоисчерпалась. И нефть и сера — все из ее глубин, самоотравление.

Лазурный глаз

Всю жизнь мы учимся читать иероглифы чужих лиц, тончайший нюанс формы ушей или носа говорит нам много. Но, мне кажется, возможен другой алфавит, другое устройство. Например, из одних глаз. Какое чудное лицо — один лазурный глаз! Причем глаз этот может менять цвет и размеры, в зависимости от настроения и обстоятельств.

Какой-нибудь борщ

Бёме писал, — да и всякий это чувствует, — что сладкое, горькое, кислое и соленое — первоэлементы, кирпи-

чи мироздания. С этой точки зрения какой-нибудь борщ, в борьбе этих элементов, намекает на тайну жизни. Еда может быть приключением.

Два стакана

Однажды — давно — случилось со мной странное происшествие. Я жила тогда на юге, мы пили чай с одной дамой, очень ко мне нерасположенной и мне неприятной. Верней, мы только собирались пить чай. Держа в руках кипящий чайник, она сказала мне очень злобно: «Поставь в стакан ложку, лопнет». Я почувствовала холод в груди и знание и сказала, глядя ей в глаза: «Не лопнет». — «Смотри!» — сказала она и налила кипятка в тонкий стакан, и он не лопнул. Потом она поднесла чайник к своему стакану, в который уже была предусмотрительно поставлена ложка. «А вот сейчас лопнет», — сказала я ей — и он тихо треснул и развалился.

Немного о скандалах

Не боясь впасть в богохульство — потому что богохульство есть умолчание — спрошу: что есть Великий Четверг как не скандал? В бытовом, конечно, аспекте — только его я касаюсь здесь. Представьте, вы пришли в гости, вдруг один из гостей почему-то выражает желание вымыть вам ноги, потом говорит, что один из присутствующих предаст его, и в конце концов, указывая на стол, говорит, что это вино — его кровь, а хлеб — тело. Нужно быть по-апостольски зрячим, чтобы во всем этом внешне абсурдном увидеть истину и свет, а не истерику и безумие.

Ничего великого не бывает без скандала. Скандал есть взрыв, излияние ноумена (по выражению Юнга). Классификация скандалов трудна — от кухонного (скандала бевсов) до интеллектуального, духовного, могущего служить Богу. (Я мечтала написать книгу «Теория и практика скандала».) Да, иногда скандалить — значит служить Богу, и это — трудная служба. Я лично теперь из области

скандала вечериночного перенесла свою скандальность целиком и полностью в область умственную.

Как странно

Со дна кошачьей кюветки смотрит в потолок Тургенев.
Как странно.

Кошка

Кошка сидит, привалясь к стене, расставив задние лапы и небрежно бросив между ними переднюю (она же верхняя) и уставясь в пространство задумчиво — невидящим взглядом, она похожа на ковбоя, дремлющего в час сиесты, если б он был так нежно-дымчато раскрашен.

Тело

Глядя на нее, я подумала, что тело не только водолазный костюм (как я определила раньше), а еще — любимое животное, но не слишком любимое, оно не как собака, а как кошка для меня. Оно живет своей жизнью, о нем надо заботиться слегка, и оно умрет раньше меня.

Любовь

И все же, пусть кошка для меня единственная, и я смотрю на нее иначе, чем чужие, но все же я вижу кошку, а когда я смотрела на свою любимую собаку (ее и называть так смешно), я видела в нем, за ним, другое существо, без вида и формы собаки, — это признак любви.

Спутники

Смотрю — к календарю прицепился клочок ее шерсти.
Ею помечен день. Мне Бог посылает похожих животных. Причем они похожи друг на друга, но не на меня.

Все нервные, благородные, эгоистичные, эгоцентричные скорей. Даже эта, которую нашли в подвале со сломанной лапкой. Пусть она будет третьей и последней, пусть переживет меня. Она все же спокойней тех двух любимых, с которыми умерла моя юность и молодость.

Субъект и объект

Субъект, опрокинутый в бесконечность, и туда же брошенный объект суть одно и то же, это Вселенная, это Бог.

Оторванность от почвы

Норвежцы когда-то уехали сами от себя — в Исландию — и создали великую литературу (Эдду и саги), и скальды народились. Почему этого не произошло у них дома, в родных пределах? Вот пример того, что может дать душе простое перемещение тела, уединение и время для созревания, оторванность.

Сам город

Есть такие места в городе, куда не ступает нога человека, выморочные. Они выпадают из города, и в то же время там он живет еще интенсивнее, сам по себе, без людей. Например, бок Казанского собора, наползающий на Канал, там есть пространство у воды, куда никто не может проникнуть, разве рискуя свалиться в воду. Или островок в Юсуповском саду.

Бесконечность тела

Не пустой вопрос занимал схоластов: сколько ангелов может уместиться на острие иглы. А сколько точек на теле человека! Каждую можно пронзить иглой, а на ней — сонмы ангелов. Что доказывает бесконечность боли и тела.

Обещание

Каждое существо, рождаясь в этот мир, как бы оно ни было странно — все же вживляется сюда. Хотя бы один предмет любви — мать — дается ему. И это залог того, что в любом мире, куда бы мы ни попали — будет то же самое. Везде мы найдем — что и кого любить. И нас полюбят.

1) В защиту эгоизма

2) наоборот

В мании величия, свойственной почти каждому, есть некая истина — ибо: «все вы — боги».

Все от себя, из себя, о себе — да как иначе — ведь мы смотрим на мир из этой норки.

Но ничто так не противно, не раздражает других, как самолюбование, самодовольство и забота о себе. И тут тоже истина.

Боль и одиночество отождествляют нас с самими собой больше, чем даже имя. А ведь они у всех одинаковы, одни. Так не все ли равно — у меня или у другого болит. Попытаться выйти из себя, взглянуть на себя как на чужого и вернуться снова уже другим. Не только чужая боль как своя, но своя — как чужая.

Гофман сквозь снег

Однажды, прослушав оперу в Мариинском театре (оперы так смешны), я стояла на остановке трамвая. Пока я ждала его, снег длинными завитками стелился у ног, а когда трамвай пришел — вьюга уже плясала вовсю. Я неслась в обледенелом трамвае, за окнами не было ничего, кроме бьющейся мелкой крупы. Кругом говорили — наводнение. Трамвай остановился (кажется, на Владимирском), пурга замерла на мгновение, и в ее разрыве близко посмотрела мне в глаза всклокоченная голова Гофмана с афиши. Я вышла и встретила знакомых — они шли на

Неву — смотреть наводнение. Не знаю почему, но это кажется мне важным событием жизни. Просто говоря, можно подумать, вся моя жизнь — петербургская гофманиада. Это так и не так, как все на свете.

МАЛЕНЬКИЕ ЭССЕ

ВИД НА СУЩЕСТВОВАНИЕ, ИЛИ ПУТЬ ЧЕРЕЗ КОЛЬЦО

ОБ АПОКАТАСТАСИИ

Усилиями будете отныне
завоевывать царство Божие.

Евангелие от Матфея

Легкий поворот мыслей, и все стало на свои места. Пусть я рискую многим, спасением души, например, — истина дороже. Во всяком случае, объясняет мне многое, что было непонятно.

Открылся мне новый вид на существование.

«Боящийся несовершенен в любви».

Почему в наказании бесами грешников есть как бы оттенок мести, одним злорадством их не объяснимый? «Лобзанием своим насквозь прожег уста, в предательскую ночь лобзавшие Христа».

Мне давно уже ясно, что Иисус приходил не только спасения ради человека, но и нечистых тоже. Во всем Евангелии — от искушения в пустыне до схождения в ад творится битва невидимая с теми, кто некогда были ангелы.

Мир, как писал Платон, замкнут и самодостаточен, питается своим же тлением, своей смертью. Однако он неуничтожим, потому что он внутри вечности и бессмертия, как бы болезнь того и другого, он может только

преобразиться, выздороветь. Человеческая история началась с падения «Денницы», «сына зари» и воинств его; падая, они образовали и время, и пространство.

Почему же и мир был сотворен после этого? Да потому что Бог в милосердии своем дал им возможность спастись и вернуться. Он сотворил человека, через которого и открыт путь спасения.

Ведь человека нет вообще.

Человек лишь другое название беса, но имеющий шанс перестать быть бесом, на что, в частности, и дана свобода воли. Нечего брезгливо отмахиваться от этих слов — «черти», «бесы», повторяя все снова и снова старый грех высокомерия, — все души из одного корня, они братья ангелов, и если ангелы страдают, то они-то страдают. Бог сотворил тело человека, поэтому оно — невинно и безгрешно. Не «кожаные ризы» еще, а сияющее астральное тело, форму. Все желания, ведущие ко греху, возникают в душе, а исполняются посредством пассивного, чистого, насилуемого своею же душой тела. Тело — жертва. Какой же дух вдунул в него Господь, какую душу? У Него не было надобности создавать новую душу; духов полон воздух. Но ангела туда вроде бы незачем и не за что вдвухать, вгонять. И вот Он взял душу падшую и ее-то вдунул. Ради ее спасения и искупления. Только пройдя через человека, может нечистый дух вернуться, в случае праведной жизни, и пострадав, в сонм светлых.

Вся мистерия в Раю — это узнавание самого себя Дьяволом и осквернение тела, превращение его в видимое, склонное ко всяким уродствам.

Людей нет, все мы бесы, но либо отрекшиеся от своего бесовства и жаждущие очистить свою природу, либо наоборот — коснеющие в своей древней гордыне и еще хуже падающие. Можно возразить: «Бесы веруют и трепещут, а многие люди — нет, значит — они не бесы». Но ведь Юнг доказал присутствие во всякой душе, в ее бессознательном, глубокой веры, просто есть верующие, не знающие о своей вере.

Надо различать демонов живых и тех — рыщущих, старающихся совратить своих братьев, и эти вторые (особенно бесы) стараются с тем большей злобой и завистью, чем ближе живые к спасению. Сонмы падших ангелов

сразу же разделились — на покаянных и воинствующих, а «если царство разделилось, как устоять ему». Христос сошел в ад — и положил начало спасению демонов. Он сломал стены тюрьмы, где томились души, жившие на свете, но плененные бесами, не желающими родиться, принимать на себя этот крест, это испытание.

Ведь другого пути нет.

Подвиг Христа еще в том, что Он без необходимости, из одного сострадания сошел в мир, полный бесов (одна Мария вернула себе ангельский чин еще на земле). Вспомните Босха — «Несение Креста», кто окружает Спасителя?

Злые нерожденные бесы часто пародируют жизнь души с телом, издеваются над нею — вселяясь. Они входят, как сильный разбойник в дом, и выгоняют, измучив, слабого хозяина, и погубляют дом, как это видно в случае со свиньями, а сами остаются невредимы.

Человек для падших — кольцо, через которое они должны себя продернуть, — иной дороги у них (нас) нет. И пока они (все мы) не пройдем этим путем, как блудные дети к Богу, до тех пор будет время, пространство и смерть. Демоны живые, в смирении и любви — подражайте ангелам.

УЖАС РОЖДЕНИЯ

Тех, для кого появление на свет осталось до самой смерти самым сильным переживанием, кто не может опомниться от боли и ужаса рожденья — не так уж мало. Все, кто спит в позе эмбриона, завернувшись в одеяло с головой, и кого невозможно почти вытащить из этого блаженного состояния — это они. Кто неспособен прыгнуть в воду и кому неохота выходить из трамвая или троллейбуса, все бы ехать да ехать. Все они помнят тепло родимого брюха и жуткий метроном материнского сердца. И свое — постукивающее чуть медленнее. Тропики утрабы, теплые воды. Одиночество и полное слияние с Другим, неведомым существом.

Тьма. Мерный стук в ушах, руки натываются на влажное, теплое. Скучно становится лежать во чреве, тес-

но. Тянет, толкает куда-то неведомая сила. Дитя делает судорожное движение к выходу, толкается головой, бьется лбом в неподдающуюся дверь... И всю жизнь жалеет об этом неизбежном прыжке.

Предстоящая смерть не должна быть страшной, потому что она — точное подобие этого выхода — на новую сцену.

Надо только довериться.

Блаженные тропики, где нет никого, кроме тебя.

Я так боюсь стука собственного сердца.

ГРИФЕЛЬНАЯ ДОСКА НА ВОДЕ

В майский день, накануне дня Победы, едва черно-бархатные липы развесили легкий зеленый дым над решеткой Летнего сада, в Неву приплыло несколько прекрасных кораблей.

Крейсера, эсминцы, даже парусник.

Но ни один из них не пленил меня так, как подводная лодка, чье совершенное дельфиное тело улеглось напротив Сада, и казалось, ее темно-серая дуга всегда была здесь и уже не исчезнет.

Ее плоская высокая рубка была как грифельная доска, выставленная посреди вод, будто для неких школяров. Но их не было, не было и учителя, летящего по воде Державина, торопящегося начертать на ней свою грифельную оду. И все же, благодаря ей, Нева бежала уже «рекой времен» или той «водой проточной», у которой всегда находятся ученики.

Эта доска торчала посреди Невы, как вызов, дня три, а потом воды зарубцевались в том месте, где она росла.

Как и на воздухе не остается шрамов, где только что вдыхала его чья-то душа.

ИСКУССТВО В ПОСМЕРТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Если предположить, что искусство не только человеку нужно (ему, может быть, меньше всего), а что им услаж-

даются некие высшие силы, то можно себе представить пространство, где нет людей, но есть греческие храмы, готические соборы, даже дома в стиле «модерн», не говоря уж о православных церквах, и деревянных и каменных. Картины, висящие прямо в воздухе мириадами — от фаяомских портретов до... до кого-то еще неизвестного, и, конечно, Тициан, Рубенс и Ван Гог.

Так же и со скульптурой. Где-нибудь на окраине крутится бесконечно кино — Феллини, «Прощай, моя наложница» и мало ли что еще.

И все это созерцают сосредоточенные ангелы. Конечно, и библиотека. Но во всем один критерий — подлинное, не подделка, ангелы умеют различать — живое, живущее своей жизнью.

Может быть, там есть и театр, где духи актеров разыгрывают Еврипида или Мольера.

Но вот тут загвоздка: если духи актеров, то и духи картин, призраки скульптур — всего. А если духи — то неизвестно, как выглядят. Какая-то квинтэссенция, некий сок и духи.

Преображенная сущность всего.

В этом элизейском супермузее живет все, что имеет свою тайную невидимую форму, в которую и преобразуется, что может быть развернуто до любой степени материальности и обратно к полной и иной бесплотности.

ПОЭТИКА ЖИВОГО (*Allegro moderato*)

Прежде всего — стихотворение (любое поэтическое произведение) должно иметь множество смыслов. В Индии (во времена Калидасы) их насчитывали девять. Их может быть и больше, и последние из них уже вне языка, непереводимы и неизвестны самому поэту, но если первые два-три верны и глубоки, то такими же будут и остальные. Автору даже не обязательно догадываться о них, но для читателя они, как покрывала Саломеи, спадают один за другим, и все же последние остаются томяще-недостижимы. Чем вдохновеннее поэт, тем глубже тайные смыслы укореняются в бесконечности. Причем, конечно, в по-

эзии «смыслы» не есть некие рациональные конструкции, а, скорее, музыкально-пластические и разумные образования, кружащиеся вокруг непостижимого ядра, вроде колец Сатурна.

Из этого следует, что, в сущности, стихотворение подобно живому существу, тоже состоящему из многих частей. (Да оно и есть живое существо. Вообще, «мертвое» или «живое» есть главный эстетический критерий.) Оно живет своей жизнью даже тогда, когда умирает язык, на котором оно создано. Может быть, оно есть некое маленькое божество, не антропоморфичное, как и сам Господь. (Хотя и сказано: «сотворил Бог человека по образу и подобию», но дальше — «чтобы он владычествовал» — только в этом смысле подобного Богу, а никак не внешним видом и устройством.) Стихи подобны живой конструкции, зданию: они обладают внутренним пространством, где можно гулять, можно внутри них бегать, летать или спать.

Внутренняя форма стихов может быть предельно простой — как вздох (или выдох). Это труднее всего, таких во всей мировой поэзии считанные, потому что это не выдумаешь. Нарочно не изобретешь и ничего не накрутишь. Или — противоположность — сложная барочная форма, венец которой «визьон-приключение» (термин мой). Когда поэт впадает в некое сверхнатуральное состояние, ему является видение, и дальше оно творит само себя, приключается. Поворачивает куда хочет. Это две мои любимые формы, в сущности они близки. Всякое творчество «синэргизм» в смысле сотворчества двух сил — разума и вдохновения (говоря грубо), в этих случаях второе преобладает.

Они суть посредники между разумом и сверхразумным. Стихотворение как некое орудие, инструмент, с помощью которого добывается знание, не могущее быть обретенным иным путем (там, где логика и философия бессильны). Оно запускается в небеса или куда угодно: под кору дерева, под кожу, и, повинувшись уже не воле своего создателя, а собственной внутренней логике и музыке, прихотливо впиваясь в предмет изучения, добывает образ.

Образ часто непонятен автору. Когда-то я сочинила стихотворение «Зверь-цветок», о человеке расцветающем, из которого вдруг выросли разные цветы. И только не-

давно меня осенило, что это есть образ расцветшего жезла Ааронова (который в ковчеге расцвел миндалем) — в знак избранничества.

И поскольку стихотворение живо, постольку оно вибрирует. Это выражается не только в звучании, в игре ритмов, в их перебивах, но, скорее, в столкновении предметов или существ, упомянутых в них, в смысловом контрапункте. Например, в стихотворении О. Мандельштама «Щегол» возникает напряжение при столкновении невольно домысливаемых воронежских степных пространств, вертикали дерева и двух энергетических точек — глаза щегла и глаза поэта, вибрация их переглядывания. «До чего ты человековит» — мог бы сказать и щегол (в ответ на: «до чего ты щеголовит» поэта). Все стихотворение напролет щегол сидит, всматриваясь в человека, человек стоит, вглядываясь в птичий глаз, — и вдруг — в самом конце: «в обе стороны он смотрит — в обе, не посмотрит — улетел» (в обе стороны — в два мира) — вдруг вспархивает, трепет крыльев.

Где есть борьба смыслов, там и столкновение звука. Поэзия есть способ достичь нематериального (духовного) средствами полуматериальными. Во что одето стихотворение, сразу видно, из какой семьи, на какие средства, так в стихотворении Тютчева (моем любимом) «Вот иду я вдоль большой дороги» в начале стихотворения, когда еще тлеет надежда в ответ на вопрос «видишь ли меня» — преобладают «д», к концу оглушающиеся в «т» — преткновение, безнадежность. Все это стихотворение слабая надежда и — увы! — отчаянье. Этими «т» дан скрытый и безнадежный ответ. Такие простые стихи вообще самые томящие и загадочные.

И все же для меня предпочтительнее сложная и ломаная, перебивчатая музыка стихов (похожая на музыку начала века, но не впадающая в звуковой распад совсем новейшей). Западная поэзия не смогла найти такую и тупо и покорно, как овца, побрела на бойню верлибра (плохой прозы). Другая крайность — искусственный классицизм. Мое предпочтение — грань между гармонией и додекафонией. Я мечтала найти такой ритм, чтобы он менялся с каждым изменением хода мысли, с каждым новым чувством или ощущением.

Чем сильнее собственная музыка поэзии, тем меньше она годится для пения. Поэзия отделилась не только от распева внешнего, но и от внешней религии. Она сама в себе и музыка и вера. Поэтическая индивидуальность оставляет свой след на каждом слогe, слове, строчке, это как национальность или возраст.

Когда-то Пиндар уснул на горе Геликон, родной Музам, и превратился в улей, изо рта его вылетели пчелы. Проснувшись, он стал сочинять стихи. Когда я проснусь, стихи разлетятся, как пчелы, кто куда, гудя и играя, и вполне заменят меня.

РЕКВИЕМ ПО ТЕПЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ИЛИ МАЯКОВСКИЙ КАК БОГОСЛОВ

(О книге Ю. Карачиевского и не только о ней)

Короткое предуведомление: сразу о терминах. «Теплый человек» — значит, не холоден, не горяч. Когда говорю «душевный», значит — не духовный, «хороший» — судящий других с определенных, довольно четких этических позиций. Собственно, тип критики, созревший в лоне шестидесятничества. Но, в том или ином виде, он был всегда (хотя бы Добролюбов). Остальное ясно из нижеследующего.

1

Чего хочет «хороший» («теплый», «душевный») человек от Поэзии? Да немногого. Он хочет, чтобы она изливалась прямо из сердца, говорила о том, «что на самом деле», и чтобы «форма соответствовала содержанию», т.е. тоже была бы простой и ясной, без выкрутас. (Замечу, что такого рода стихотворения, когда получаются, являются собой, может быть, высочайший, а может, просто особый, очень редкий род поэзии — я бы назвала его неодетым. Пример — «вот иду я вдоль большой дороги».) Без выкрутас. Для него и поздняя Цветаева — это лишь «формулы и афоризмы», «изнурительная борьба со стихом...»,

«лингвистическая карусель». «Сложная пьеса — писать которую унизительно...» А вот Бродского «унизительно даже уже и читать... Много сказано и не сказано ничего». О, он, конечно, отдает должное Бродскому, «который и много умнее Маяковского... да и мастерство его абсолютное». Что касается ума М. — то уж разрешите поверить Пастернаку, да и Чуковскому. Абсолютное же мастерство, если оно есть — то разве у Демиурга — при сочинении каштана, например. А если что и унизительно, это нижайшая почтительность перед «мастерством», за которое он принимает сложную рифмовку и аллитерацию, не понимая (не дано уж было), что никакого мастерства и нет, как такового, а есть сложное сознание и хаотическое бессознательное, стремящееся себя выразить, а иначе говоря — гений и удача.

Ему бы, хорошему человеку, писать о Есенине, ну, о Твардовском. (Об обоих не хочу сказать ничего обидного.) Это — его. Ан нет! Зачем-то находит себе большое, уязвимое, раненое и даже убившееся Человекоживотное («Какими Голиафами я зачат») и, всаживая ему в окровавленный бок нож, — спокойно и неторопливо, по мере сил своих — фельдшера-недоучки — с ученым видом рассуждает об анатомии этого несуразного Существа. Никогда бы он не сделал этого, если бы сам Слон не превратил себя в Моську: не опозорил себя добровольно сотрудничеством со стучащим кулаком и растирающим в пыль башмаком.

2

Что был бы Маяковский для русской поэзии, если бы в 16-м году умер или растворился тогда же в пространствах?

Он — «красивый, двадцатидвухлетний» — был бы наш Рембо.

Еще более дерзкий, еще более «сверхчеловек». (Да, это не всегда — ругательство. Святой, да и всякий истинный христианин стремится к сверхчеловеческому и неслыханному.)

Году в семнадцатом умчался он из русской поэзии в свою плоско-красную Африку. Поэзия более изнуритель-

ное занятие, чем думают, просто сил не хватило, как и французу.

И превратилось его дионисийское бешенство, нечеловеческое сострадание ко всему, само над собой издевающееся, и гигантизм — в плоскость (пошлость) и жестокость.

Но это не было неизбежным и закономерным, как хочет убедить нас шестидесятник. Скорее — внезапным падением небесного тела, на лету превращающегося в человеческое. Это такая же случайность, как торгашество Рембо, умершего с не пригодившимся золотом в поясе.

Все же — зачем автор — честный и скромный, серьезно изучивший законы версификации — взялся думать и писать об этом несчастном Человекослоне (у которого, по словам К., и души-то нет, а только — «сгущенная пустота»). Пустота, впрочем, как ни сгущай, все равно ведь пустотой останется. К тому же и многие великие души не что иное, как пустота приемлющая, может быть, и для поэта это — большой комплимент?) Зачем же, спрашивается? Чем притягивает, гипнотизирует — до того, чтобы потом и смертью собезьянничать? Одно ли желание разбить кумир юности? Только ли чтобы доказать, что «неверные» с его точки зрения эстетические послышки ведут и к «неверной» морали, и что сложность вообще не к добру?

То-то хохочет там над ним Маяковский, вертя в огромных лапах, то-то подхихикивает Лиля, и оба они утешают, плоско остря, расстроенного своей смертью хорошего человека. (Я не так представляю загробную жизнь Маяковского, но приблизительно так ее должен бы мыслить К.)

3

Маяковский говорил: «Я где боль — везде».

Как — К. спрашивает — можно быть везде? Нельзя ведь, значит — это пустые слова. Не знает К.: тот, кому больно всерьез и изначально — в том — вся боль мира, он ее вбирает, он — центр болящего мира, в коем страдание и сострадание — неразличимы.

Главное движущее Маяковским чувство (и как личности, и как поэта) К. видит (и тут мы с ним согласимся) —

в обиде. Но на что? Не затрудняясь доказательствами или объяснениями, К. просто отвечает — на то, что его не приняли. Мелко. Помилуйте! Кто еще был столь ослепительно знаменит, а значит, и принят (воспринят) современниками? Да — обида. Но не на «мужа Марьи Ивановны», а на боль всего живого и на Творца, допустившего ее.

Серьезно и с ученым видом препарирует К. шутки Маяковского, убеждая, что они неостроумны. Да никакие шутки не смешны, когда их рассматривают в лупу.

Объясняя доверчивым читателям, что Маяковский в своих человеческих проявлениях был просто хам, К. приводит пример, очень известный, из статьи К. Чуковского. Причем удивляется — почему трезвый умом Чуковский восхищается тут Маяковским. (Еще бы! Чуковский-то не был «хорошим», «теплым» человеком, как после публикации дневников стало еще яснее.) Я тоже восхищаюсь поведением Маяковского в этом мелком незначительном случае. Приходит в бильярдную известный критик и, отрывая молодого поэта от игры, начинает расхваливать его книгу. Маяковский делает вид, что ему не до похвал и игра для него важнее (позвольте тут уж ему не поверить), и отсылает критика к какому-то старичку, за дочерью которого ухаживает (сомнительно, что с такими уж серьезными намерениями — он уже был мужем Лили Юрьевны Брик) и чье мнение для него якобы жизненно важно. И вот, вместо того, чтобы увидеть тут естественное смущение и особого рода душевное целомудрие, да и своего рода аскетизм (в пренебрежении похвалой) и внутреннюю огромную свободу — кто еще был или будет способен так легко пренебречь похвалой влиятельного лица? — К. видит в этом хамство. Господи прости, больше ничего не скажешь.

В чем К. сочувствует Маяковскому и даже перестает скрывать некоторую тайную влюбленность в своего героя — так это в истории его любви. (Мне, впрочем, кажется, что никакой тайной влюбленности нет, а есть ее расчетливая симуляция, льстящая «тонкому» читателю — ах, он на самом-то деле Маяковского любит! Хороший какой!) К. становится ужасно подробным и пристальным, проникает все завесы — хотя одна записка Лили Брик говорит нам об этом ясно и просто гораздо больше того, что К. хочет сказать. Он ему очень сочувствует. Нечего сочувст-

вовать. Да, не было у него «нормальной семейной жизни», но была любовь — такая несчастная, такая счастливая, такая средневеково-рыцарственная, что из поэтов один только Блок может с ним в этом сравниться.

Естественно, что если Маяковский пишет о Земле как о бабе, «ерзающей мясами, хотя отдаться», то невинный во многих смыслах хороший человек видит в этом скрытую ненависть к женщинам и обиду на них. Даже как-то неловко говорить об очевидном — о яркости мифологического сознания Поэта, его связи с древним и архаическим, где Земля именно — женщина, и не всегда мать. Солнце в стихах Маяковского с удивительной настойчивостью лезет с самого начала. Этот житель бессознательного для него — то враг, то — брат, то — Бог. И, конечно, не для того поит его чаем Маяковский в 20-м году, чтобы, как наивно утверждает честный разоблачитель, намекнуть, что он «сам — солнце русской поэзии». А просто потому, что поэт не может отвязаться от солнца, оно пристает к нему и горит на поверхности его души даже на закате первоначального и истинного Маяковского.

Порядочный человек никогда, видимо, и Фрейда не читывал, иначе не возмущался бы так бурно строками Маяковского:

Отца —
Мы и его
Обольем керосином
И в улицы пустим для иллюминаций.

Может быть, тут и есть чем возмущаться, потому что это — богохульство, Отец-то — небесный, это ясно видно из контекста — речь идет о Французской революции и о том, что она не все, по мнению Маяковского, свергла, что надо было. Но исследователь возмущается не тем, а важно замечает: «отец — это всегда отец... Неужто всерьез написал? Можно ли отца поджигать и гнать по улицам?» Не надо быть специалистом по Фрейду, чтобы знать, что ребенок, любящий своего отца наяву, — во сне может убивать его, жечь и всячески мучить. А стихи — это тот же уровень существования, что и сны. Человек в снах и стихах неподсуден, и не надо называть его извергом за сны, которые снятся.

«Маяковский был воинствующим атеистом», — уверяет критик. Далее: «все же он боролся против неба». Нелогично — для атеиста нет неба, воинствует он с людьми. «Разумеется, я не хочу сказать, что он хоть в самой глубине души был верующим». Ох, нелогично. Если боролся, то — уже не атеист, а богоборец, а богоборец — по определению верующий, знает, с кем борется. Богоборчество подразумевает веру, и горячую. «С кем Иаков боролся в ночи».

«Он был человеком без убеждений, без концепций и без духовной родины». Допустим. Хотя убеждения все же были, а любовь — тоже духовная родина. Я бы иначе поставила вопрос — человек ли он? Он — поэт, значит — уже нет или еще нет, а человеком только прикидывается.

К концу книги хороший человек все же расчувствовался. Очень, даже «смертельно» вдруг ему стало жалко Маяковского — на последнем его ужасном вечере, когда комсомольцы насмеялись и унижали его до того, что он растерялся и даже потерял свою способность пусть глупо, но острить. Униженного, растерянного пожалел К. Маяковского. Спасибо. Покойный, вероятно, слегка тронут, и мы вместе с ним. Когда все силы настоящего, текущего в тот момент 30-го года времени обрушивались на него и домучивали и так замученного бесплодием и собственной неправдой поэта, хороший человек, добавив пинков из будущего, все же пожалел жертву. На то он и хороший. Тут он даже слишком хороший.

Отвлечемся, наконец, от вынужденных разговоров с хорошим человеком и поговорим немного о Чудовище.

4

Для «борцов с тоталитарным режимом» политические взгляды Маяковского буквально — красная тряпка, за которой они не видят и не желают видеть ничего больше. Мне они, как и всякий утопизм, неинтересны. Как и весь постыдный и жалкий второй период его жизни, когда он пытался сделать драгоценный свой дар орудием — штыком или метлой — а дара-то уже не было, он лишь изредка, задавленный, пробивался. Маяковский просто занялся в это время другим делом, как, повторим, Рембо —

торгашеством. Это — его несчастье. Поздний он — мертвая и уродливая ветвь того дерева, которое и сейчас живо. Его ранние поэмы и стихи — такое живое пространство, такой оглушающий вал, дикий, как все стихийное. Вот с ним-то и борется К. — против божественного огня и непереносимой боли. А это, в отличие от богоборчества, — и неблагоприятно и грех — потому, что богоборчество Богу не страшно, а вот человека и творения его затоптать ногами можно.

Второй Маяковский как будто воплотил в жизни выдумку Шамиссо, он человек без тени. Тот же самый, но на самом деле — сам плоская тень. Ее победить и разоблачить — нетрудно. К. делает вид, будто другого, автора гениальных поэм, не было никогда на свете. А был.

5

Был ли Маяковский воинствующим безбожником? Воинствующим антиклерикалом — да. Взять хотя бы стихотворение о шести монахинях, которое кончается тем, что если бы Христос воскрес и увидел нудную тоскливую жизнь и якобы служение Ему этих монахинь, он бы повесился. Богохульство? Может быть. Но и ревность по Боге, в своем роде.

«Служите Ему в страхе и трепете.
Служите Ему с радостью. Пойте Ему песнь новую».

Был ли Маяковский религиозным поэтом? Стихотворение «Если звезды зажигают» — это в миниатюре целая богословская система. Оно — о равнодушии Бога к творению. О его незаинтересованности. Можно найти параллели с древними ересями, манихейством, например, но не в этом дело. Богу не нужны звезды, ни те, кто без них жить не может. Приходится врываться к Нему, умолять — то есть молиться. Просить ради другого кого-то, из любви. И Бог все-таки по молитве делает. Весь космос, по Маяковскому, держится силой любви, сострадания и молитвы. Для дальнейшего развития модели мира, для богословствования Маяковского именно важно, что тут все на человеке держится. На его просьбе слезной, на

молитве. Но и обида тут скрыта — что просить вообще приходится, должен бы Сам о своих детях позаботиться. Потом, когда обида за чужую боль стала по-настоящему сильной, он разговаривал с Богом уже без слез. Это — уже вопль, ругань, месть.

Согласно интуитивно-механическому методу — всякий поэт есть горло какой-то стихии — что бы стихией ни называть — от воды и огня — до окурка (и он — стихия), она все время навязчиво, хотя и незаметно для поэта себя через него выговаривает. Стихия Маяковского — летящий шар. Прежде всего Солнце, оно всюду и везде, в разных видах у него — от глаза до антропоида, на каждой почти странице — «за солнцами улиц», «солнце — отец мой» и т.д. Со всем, что шаровидно, он чувствует родство — с землей — «дай исцелю твою лысеющую голову», с луной, о ней — «жена моя», и звездами. Двойник луны — лысая голова, о которых часто и подробно пишет. Глаз (круглый идвигающийся) — вспоминает до болезненности часто. И как тени и отблески летящего шара в жизни — бильярд и пуля.

Почему так волнует его шар летящий? Да потому, что он помнит свое падение, свой кометный полет. «Был и я ангелом». Утренняя звезда. Родство с демоном, которого так часто и всеу поминал. Обиженный на все, мощный врубелевский демон — похож на него. Поэма «Человек» о запредельных скитаниях с болью воплощающегося бесприютного духа. Пал к нам — на шар земной, и с помощью маленького круглого тела — вылетел.

Восстание против Бога? Но и не менее очевидное — служение. В «Войне и мире» взял всю вину человечества — на себя. И вину каждого человека. Признается во всех грехах, какие не совершал. «Маяковский еретикам в подземелье Севильи дыбой выворачивал суставы. Простите!.. Это я... нес к подножию идола обезглавленного младенца. Простите». А зачем?! Чтобы, взяв этот грех весь, стянув в одну точку — уничтожить. Чтобы только он один во всем мире виноват был, с одного бы и спрос. Гордыня. Слишком много на себя взял — и сломался. Безумная утопическая мечта о жертвенности. О жертве за всех — это дело не человеческое. Вот теперь и выворачивают еретика суставы на дыбе — уже другие, хорошие.

ТРИ ОСОБЕННОСТИ МОИХ СТИХОВ

Предупреждение: их, может быть, тридцать три, но мне ясны и интересны три.

Второе предупреждение: да будет стыдно тому, кто подумает, что я хвастаюсь.

1. Эта особенность обнаружилась недавно. Это просто — редкое свойство, ровным счетом ничего не говорящее о качестве или значительности стихов.

Шла я по дороге и думала: в стихах, как в таежной избушке, путник должен найти все нужное на первый случай — спички, хлеб, соль, топор, колодец рядом. Быстро порывшись в стихах, я все это обнаружила.

Но дальше оказалось, что в них можно найти все, о чем ни подумаешь: музыкальные инструменты, просто инструменты, почти всех птиц, животных, отвлеченные понятия, цветы, одежду, деньги, посуду... Хотя я не бытописатель, отнюдь. Конечно, не все предметы, какие существуют, но все виды, ряды, а в них, как в сломанной расческе, нет пары зубьев.

(Кстати, я почти ничего не помню наизусть, но, припоминая, погружаюсь в особое прицельное молчание — и нужная вещь сама всплывает из глубины).

Один знакомый сказал: у вас нет газеты. Но и она нашлась. Другой: а вот гиппопотама нет! — И он обнаружился. Один мальчик робко спросил: а есть ли аквари-

ум? Я усомнилась. Сначала я ответила, что косвенно есть: «покормлю злаченых рыбок». Но тут же обрадовалась, вспомнила: «Был бы аквариум — уж давно рыбки бы в нем метались» (самого аквариума нет, но слово есть, в первом случае — наоборот). Когда я чего-то не нахожу, я странно беспокоюсь, мучаюсь, вспоминаю — и, как правило, все же нахожу.

Это несколько пугающее свойство, повторюсь, еще ничего не говорит о достоинстве стихотворений. Есть много лучших поэтов, у которых в помине нет никакой утвари или рыб, к примеру.

Это всего лишь особенность, объяснение ей я нашла в раннем своем стихотворении «Подражание Буало»: «Поэт есть глаз, узнаешь ты потом, // Мгновенье связанный с ревушим божеством. // Глаз выданный, на ниточке кровавой, // На миг вместивший мира боль и славу». Это сбылось. Получилась маленькая модель мира. Я повторила этот мир по складам вслед Творцу, сколько хватило моих глаз — перепевщик Демиурга. Компендиум мира, заключенный в крошечный шар и отравленный болью. Это — мой message Творцу и маленькое зеркало. «Вот зеркало — граненый океан — // Живые и истлевшие глаза. // Хотя Тебя не видно там, // Но ты висишь в них как слеза» («Танцующий Давид»).

Это получилось само собой. Сознательно я к этому не стремилась. Да и можно ли заранее помыслить такую задачу? Хвалящийся да Богом хвалится.

2. В мировой поэзии не так уж много тем и мотивов. Мне случайно удалось набрести на несколько совсем новых. Например: «Влюбленные на похоронах», «Странное угощение», «Элегия на рентгеновский снимок моего черепа», «Как Андрей Белый чуть под трамвай не попал», «Мытье головы в грозу», «Невидимый охотник» — о метафизике родимых пятен. Или о человеке, поросшем цветами, — «Зверь-цветок» и т.д.

Не говорю уж о поэмах: «Хьюмби» — о создании нового типа человека путем духовной алхимии. Или книга о Лавинии, живущей в многоверном монастыре, одновременно православном, католическом и буддийском.

3. Неодолимая привязанность к метаморфозам. Как у Овидия. Все превращается во все. Сириус — в пьяницу,

Волк — во Льва, человек — в букет, в башню, цикаду, птицу, живую могилу, убийца — в жертву. Человек — в Бога. И так далее. Как говорит Лев, один из героев книги о Лавинии: «До твоего, сестрица, гроба — // Во что, во что не превратимся». Да и сам «лирический герой» неуловим: то римлянка, то цыганка, монахиня, китайская Лиса-оборотень.

И, наконец, четвертое свойство, делимое со всеми настоящими поэтами. Стихи буквально живы, они — Существа, они улетают, и очень далеко. Им безразличен их Творец. Без него им даже легче, после его смерти они наливаются кровью, они — еще живее.

ноябрь 1996

**ИЗ КНИГИ
«ИСТИННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
МОЕЙ ЖИЗНИ»**

ОБЕЗЬЯНЫ ПРЫЖКИ

В промозглые первые дни весны семьдесят седьмого года я стояла в подвале, в длинной очереди, держа в руках скинутый с плеча рюкзак с бутылками, счастливая уже тем, что, отстояв на улице, попала наконец в этот подвал с низкой, всегда горящей, будто чадающей лампочкой, и думала сразу о двух вещах: что я куплю на сданные бутылки — водку или сигарет на неделю («Шипка» по 14 копеек), и, во-вторых, о докладе, который я должна сделать завтра в приватном обществе «Обезьяна». Не помню, как оно началось и почему так было названо (к Ремизову это, во всяком случае, не имело отношения, о его «Обезьянвополе» прочитали мы все уже позже). В нашем обществе все называли себя только кличкой, к примеру: Чита, Кинг-Конг, Оранг и так далее. Собирались раз в две недели, постоянно приходили обезьян пять-шесть, но бывали и случайные. Меня звали сестра Шимп, -анзе отбрасывалось для красоты и лаконичности. Распивались каждый раз выдуманные напитки, тому, кто их придумывал, полагалась награда и почетный титул. То это была водка с изюмом, или она же ярко-зеленая с березовыми почками, то перченное вино. Перед тем как их распить, все терпеливо слушали доклады, их было каждый раз два (и докладчика соответственно два), один о каком-нибудь стихотворении, другой — о каком-нибудь дне в истории, причем день должен был быть таким, что

если б его не было, то все в истории пошло бы иначе. Доклады оценивались тайным голосованием: в коробку бросались шнурки от ботинок разных цветов — черные, белые и красные, черные были самые дорогие. Потом они связывались и носились докладчиком на запястье, символизируя обезьяний хвост и место обезьяны в иерархии. Стоя в очереди, я с гордостью думала о том, что в прошлый раз за доклад о дне, когда Наполеон решил идти на Россию, получила почти сплошь черные и что вообще мой богатый хвост был чернее всех.

Суть моего сообщения о Наполеоне состояла в том, что тайным символом его жизни и гарантией безопасности был круг. Пока он находился в круге, высшие силы его хранили. Он родился на острове (то есть в круге), на Эльбе был в изгнании, на острове же умер. Я доказывала, что и все его военные кампании геометрически укладывались в форму круга, он кружил по Европе, как ворон. Первый раз, когда он вырвался из круга, — случилась неудача в Египте, и, наконец, роковой прыжок из круга — в Россию, как камень из пращи. А кружился бы — и ничего бы не было, и не узнал бы, может, что остров св. Елены существует на свете. Геометрия обрекла его, географическая геометрия. Собственно, принцип тут был тот же, что и в докладе, который я как раз обдумывала — о Кузмине. Нахождение тайного знака, стоящего за поэтом или человеком, Рока. В случае Наполеона это был круг, у Кузмина же — вода. (Во всех ее проявлениях: лед, пар, дождь и т.п.) Однажды я набрела мысленно на свой метод и назвала его «интуитивно-механическим», когда путем созерцания внезапно догадываешься об этой тайной вещи и потом уже механически (арифметически) доказываешь частоту ее присутствия. Потом стараешься догадаться — почему она, а не другая. Но это самое трудное и почти невозможное.

Все же и нахождение этой вещи, этого секрета совсем не просто, часто и вообще недостижимо. Это может быть что угодно — от Луны до окурка.

На другой день мы собрались у брата Мака на Шпалерной. Брат Мак был историк и сделал доклад об аресте большевиков, членов Думы. Как ни странно, арест произошел именно в этом доме. Брат Мак вывел всех во двор

и показал окно, из которого перед приходом жандармов выпрыгнул Сталин. Видимо, он и выдал всех, под окном не было стражи, как обычно, охранка дала ему возможность бежать, — объяснил брат Мак. Потом мы вернулись, высоко оценили докладчика и выпили. Потом я сделала доклад о воде у Кузмина (см. приложение). Мне задавали вопросы, брат Оранг, длинный и бородатый, спросил: «Что же, ты хочешь сказать, что поэта без скрытого мотива и не бывает?» — «Да, не бывает, — подтвердила я. — Разве у Пушкина, у Гете, у таких всеобъемлющих, у них, может, и нет». — «Ну а, например, у К.?» (Посредственный, но всем хорошо известный поэт.) — «У К.? Ткань». Я взяла с тумбочки маленького казачка, дымившего невесомой трубочкой. Это был условный К. Еще я поставила в ряд крокетные воротца и навесила на них кусочки ткани — от полотна до батиста и, толкая карандашом казачка К., провела его от ткани до ткани (которых у него в стихах множество. О чем он, кстати, не подозревал), цитируя соответствующие места и демонстрируя его путь от грубых телесных покровов до тонких невесомых, за которыми уже таилось нечто для него страшное, и поэтому он в панике бежал, толкаемый, обратно и прятался под маленькую подушечку. Как обычно, я получила черный хвост с включением белого шнурика. После брат Мак позвал меня на кухню и завел привычный разговор на тему — кто у нас стукач. Это не было манией преследования, увы, просто мы знали, что его не может не быть. Раз есть общество, есть и доносчик. Даже в университетских группах — все знали — полагался один на группу. Брат Мак подозревал тихого, скромного брата Резуса, я иногда с ним соглашалась, но чаще с внутренним ознобом и ужасом сомневалась в брате Кинг-Конге. С дрожью — потому что это было парадоксом и разгадкой детективной мистерии — на кого никто не подумает. Единственным, что внушало подозрение в нем, было постоянное вранье о себе; это, впрочем, немало. Болезненная подозрительность заразила в то время почти всех, но редко она приближала к истине, нас заставляли не верить друг другу. Это было ужасно. Но точно и достоверно стукача знали только сидевшие (кто их выдал). В Германии бывшие диссиденты получили на руки свои

дела и читают их с ужасом и умилением. А нам вряд ли суждено увидеть их. Брат Мак, кстати, был через несколько лет арестован за какую-то статью в «Гранях».

Перед уходом, уже в дверях, брат Кинг-Конг спросил, знаю ли я свой тайный мотив. «Нет, и не хочу знать, это опасно и даже убийственно для поэта». — «Ну так погоди, я тебе найду». И правда, через неделю он прочитал большую статью, где доказывал, что это — воронка, в которую автор, кружась, падает. И даже не одна, а две — как песочные часы — и через них человек, как песок, перетекает из одного измерения в другое и обратно. Это меня огорчило, но все же воронка была всего лишь побочным мотивом, это меня и спасло.

Наши собрания длились долго, но закончились довольно печально.

Однажды один из братьев, кажется, Лемур, пришел почему-то задолго до начала шимпозиума и принес водку. Когда все обезьяны собрались, я была уже очень пьяная, но опьянение было незаметным для окружающих, а в голове царил пронзительная ясность. В тот вечер, как назло, доклад делал новичок, самолюбивый и малоталантливый. Я принялась задавать ему ехидные вопросы и прерывать чтение смешными, видимо, раз все смеялись, замечаниями. Автор же краснел, бледнел и, вместо того чтоб ответить мне шуткой же, страшно злился.

Наконец меня просили замолчать и дать ему возможность дочитать свое сообщение. Но я не унималась. Тогда брат Оранг сказал мне, что если я не замолчу, то он меня вынесет в другую комнату (что он уже однажды делал). Этого я никак допустить не могла, и, когда он действительно подошел ко мне сзади, я, не глядя, схватила бутылку с вином и, даже не оборачиваясь, сильно, с размаху ударила его, как я думала — в живот. Высокий брат Оранг присел, чтобы поднять меня, и удар пришелся, увы, по голове.

Когда я обернулась, он сидел на корточках, закрыв лицо руками. Потом он сделал движение, будто хочет меня стукнуть, но, вскочив, убежал.

«Однако, сильно вы его», — сказал брат, принесший водку. «Ну да?» — удивилась я. Пошли искать Оранга, его нигде не было, потом нашли его на балконе, две обезья-

яны вывели его оттуда под руки. Вид его был страшен, он был похож на буддийскую икону из книги Льва Гумилева, с лицом, залитым кровью, он походил на страшного бога смерти Яму.

«Извини, извини», — шептала я. «Уйди, только уйди», — отвечал Оранг. Его отвезли в травмпункт. Я думала, что он там расскажет, как все произошло, и меня арестуют. Я звонила Рите (покойной жене Лени Аронсона) и просила ее взять мою собачку, если меня повяжут. Но Оранг, как потом выяснилось, благородно соврал, что на него напали на улице.

Через несколько месяцев только легкий шрам на переносице напоминал об этом несчастном случае.

Обезьяны собирались еще пару раз, но тень несчастного случая омрачала наши собрания, и на этом они прекратились.

Приложение:

ВОДА — УБИЙЦА И СПАСИТЕЛЬ

(Доклад, прочитанный на симпозиуме в апреле 77-го года)

Таинственна связь между поэтом и стихией. Как таинственна она между ореховым прутом и источником. Таинственна — потому что — бессознательна, потому что стихия выбирает себе поэта, а не поэт стихию. Он может прожить жизнь и умереть, не узнав, что все его существо, каждый атом его крови отзывались на ее приказы, что ритм его стихов зависел от ее движений, что он сам был ею. Одержимый не знает, чем он одержим. Кузмину заклинитель сказал бы: «Ты одержим духом Воды».

Для Кузмина потоп не кончался. С самого начала и до конца жизни — одна вода кругом. Названия книг (первых): «Сети», «Осенние озера», (последней) «Форель разбивает лед». Вода во всех видах (лед, пар, гладь морская, речная) и все к ней относящееся: рыбы, сети, пароходы. В

каждом стихотворении она, в блюдечке ли с чаем, в котором отражается Фудзияма, в луже, пруде, море, океане.

Пишет ли он о любви: «любви безбрежные моря», о весне: «с весенним шумом половодья», о желании умереть: «я бы себя утопил» («Смерть Антиноя»):

Как ужасно далеко Нил,
здесь в саду
вырой прудок!
Будет не очень глубок.
но я к нему приду
отгородиться от всего стеною!

О желании уверовать (обращаясь к Христу):

Брошусь сам в Твои сети,
воду веретеном взрыв.

Италия для него (не Венеция только): «ворожея зыбей зеленых».

Должно быть, он тонул в младенчестве. Влечение к воде и ужас к ней, ненависть.

Навязчиво-любимые герои (с первых же книг или строк): знаменитые утопленники — Озирис и, прежде всего, Антиной.

Неявный герой «Александрийских песен» — Антиной.

Вытащенное из воды тело
Лежало на песке...
— Новый бог дан людям.

Бог тот, кто утонул. Вода сообщает божественность. Утопленник и рыбы — основные герои (явные или скрытые) его стихов.

Почему именно он, поклонник Озириса и Антиноя, воспевший их, как уже говорилось, с первых же строк, оказался свидетелем гибели от воды другого знаменитого утопшего — Сапунова в 12-м году, соседа его по лодке, которая перевернулась?

Так и слышишь демонический хохоток, переходящий в утробное всхлипывание — финских волн в час отлива, заманивающих в даль. Обручение с водой через смерть.

Он видит мир не как библейский дух, парящий над водами, скорее как индийское божество, лежащее на дне Океана в зародыше цветка: «Солнце аквамаринном, и птиц скороходом — тень».

Но не из глубины, а почти на грани воды и воздуха, перейти которую рыба хочет. Она хочет (мотив «Форели») разбить лед, разбить стекло аквариума. Такое желание кажется нелепым. Переход из воды в воздух — смерть для рыбы. Но это только кажется. Рыба чувствует, что станет лодкой. Воздух (по Кузмину) — та же вода, но более легкая, более духовная.

«Ах, неба высь — лишь глубь бездонная!»

Умереть для воды и родиться для воздуха, он тоже вода в своем роде. Из тяжести воды — в легкость, в праздничность, которая доступна и здесь иногда, но редко.

Ключ к пониманию этого — стихотворение «София» из книги «Нездешние (подводные, надводные?) вечера». В нем описывается схождение Софии в мир, она становится землей, миром:

Прорасти теперь травую,
Запою водой нагорной
И немеркнувшее тело
Омрачу землю черной.

До этого она принадлежала воде (была лодкой).

В золоченой утлой лодке
Я ждала желанных странствий.
И шафранно-алый парус
Я поставила по ветру.

Вода стала всем. То есть небесная вода стала всем, в том числе и грубой «нагорной» водою. А если можно сойти вниз, то можно — тем же путем и подняться, снова стать небесной водой. В чем и состоит трудно достижимая цель. Воздух отбрасывает назад слишком земных и тяжелых.

Итак, для рыбы есть два пути (рыба, понятно, символ): первый — жить как жила в воде, второй: броситься в воздух и умереть, вернувшись в родную небесную воду. Но возможен и третий выход: прыгнуть в воздух и снова вернуться в воду, но уже другим — преображенным, преломленным в воздухе, как луч. Именно это происходит с героями поэм «Для Августа» и «Форель разбивает лед». Эдвин Грей (будущий утопленник-рыба) ушел в моря и, конечно, не вернулся, не мог (по Кузмину) вернуться. Вода ведь гибельная стихия. И все же возвращается —

призраком, оборотнем, одетый в тело другого, в чужую чешую. Душа, отброшенная назад, ужасная в своей искаженности. (Чешуя, кстати, тоже важна у Кузмина. В стихотворении «Рыба апостол, уверовавший»:

Мне на волосы с неба упала
Золотая рыба чешуя.

Душа была рыбой. Золотая чешуя — это все, что осталось от старой души.)

✧ ✧ ✧

В «Александрийских песнях» говорится: «Не напрасно мы риториков читали и все можем толковать седмиобразно». У Кузмина, по меньшей мере, три смысла, три аспекта воды и четыре — рыбы.

Вода: 1) Жизнь как существование в глубине, на дне. 2) Вечная жизнь в выси, София, горная вода. 3) Видимость жизни, полужизнь — возвращение двойника, отброшенного в воду № 1, не сумевшего войти в воду № 2.

Рыба: 1) Соответственно — человек (под водой), рыба в воде № 1. 2) Лодка над водой — святой, блаженный. 3) Отброшенный от грани миров двойник, оборотень, одетый в чужую чешую. 4) Рыба внутри рыбы (человека) — эротизм, чувственность.

✧ ✧ ✧

В поэмах «Форель разбивает лед» и «Для Августа» тема воды находит новое развитие. Главная идея — «триумф Нептуна» — иллюзорность земной любви, неопределенность ее предмета. Любовь к двойникам. Эти поэмы — двойники, хоть автор и разделил их в книге, обе 27-го года и сюжет, подоплека у них одна.

Любовник уезжает за море (как и Эдвин Грей), это значит (для Кузмина) — навеки, но друг чудесным образом посылает своего двойника, которого герой любит как некую метаморфозу первого, как оборотня. Они вместе решают уехать, но едва они ступают на корабль, то есть

в воду — любовь уходит, чтобы снова появиться на суше. На корабле они встречают прежнего любовника героя, изменившего со «стариком», но мнимость любви возвращается, и он сразу же швыряет «старика» за борт. Все, что в воде, уже не спасется, не выплывет. Кого же любит герой? Вода так все преобразила и изломала, что уже не поймешь.

Похожее происходит и в «Форели». Ее «шкаф» — это «скандальный дом» в «Для Августа». Вакхический «триумф Нептуна» — это поражение Софии, триумф взбалмученной воды, делающий все, даже любовь, призрачным. Никто не погиб, и все встретились снова, но другими — отраженными, отброшенными, не принятыми Софией.

У Креста стоит Венера,
Очи томно кружатся,
По морю дымятся флоты,
Птичек мартовских полеты
Раздробила лужица.

И Венера, и рыба, и поруганная София хотят проделать обратный путь — вверх, из мира отражений.

Все эти темы находят разрешение в «Лазаре».

Итак, очевидно, что Кузмин, о чем бы он ни писал, писал о воде и выстроил, не подозревая об этом, стройную аквальную систему, философию воды. Он был горлом этой стихии, связь поэта и стихии, как уже говорилось, таинственна.

ОТ ИМЕНИ ЗЕРКАЛА

*(Доклад о Фете, прочитанный на симпозиуме
в 78-м году)*

Некая конференция. На трибуну выходит Зеркало. Смотрит в зал. Поспешно загораживается портретом Фета.

Зеркало: Вот предыдущий оратор говорил тут очень интересно о Фете. О том, что Фет ушами видит, глазами

слышит, запах щупает, о смешении чувств и о многом другом.

Я же буду говорить сугубо со своей личной точки зрения, если зеркалу позволено так выразиться. Я буду кратким.

Может быть, вы упрекнете меня в мании величия, но я скажу: главная тема Фета — брошенное зеркало. Сам он в зеркало смотреться не желал. Почему? Об этом позднее. Он его отбросил, но не мог отвести от него глаз и смотрел, что оно отражает. А что может отражать брошенное, лежащее навзничь зеркало? Небо, тучи и звезды. (Тучи — они же облака.) Часто его интересовали не они, а их отражение в пруду, в озере, в естественном зеркале.

Луна среди небес скользит
И свой двойник во влаге созерцает...

(И еще бесчисленные перечисления звезд и облаков, или, вернее, их отражений.)

Любимое слово — «отблеск». Даже город кажется ему отражением, всюду в небесах мерещатся ему отражения города.

Вон там на заре растянулся
Причудливый хор облаков:
Все будто бы кровли, да стены,
Да ряд золотых куполов.

То будто бы белый мой город,
Мой город знакомый, родной,
Высоко на розовом небе
Над темной уснувшей землей...

Почему он сам не хочет смотреться в зеркало, как, например, Достоевский? Только ли потому, что он сам — некое чувственное, раздраженное зеркало? Тут возникает ассоциация (хихикает). Кто, кроме зеркала, сказал бы о себе:

— Меня не видеть, зато я всех вижу...

Я не хочу сказать, что он был плоским. Вот уж нет! В зеркале — таинственная глубина. Но оно не допускает до своей глубины мир. Оно его отдаёт, отбивает назад. Вот ты на меня смотришь (отодвигает портрет и отражает зал), а вот тебя нет (опять закрывается портретом). И в

любви он таков. А что видит зеркало во тьме? Себя? Но я отвлекаюсь.

Фет осознавал себя как зеркало.

Вот, например: стихотворение «Что за ночь». Пока «безотраден сумрак ночи был — ты ждала, ты жаждала признанья, я молчал, тебя я не любил» — естественно, потому что отражал безотрадность и мрак. Зеркало во мраке — двойной мрак. Но вот теперь — «что за ночь! Прозрачный воздух скован, над землей клубится аромат» и т.д. «О, теперь (sic!) я счастлив, я взволнован, вот теперь я высказаться рад» — все по тому же закону отражения.

Возьмем другое стихотворение. «Зеркало в зеркало с трепетным лепетом я при свечах навела» и что увидела: «что-то давящее белое», «мохнатое с оловянными глазами». Вот почему он не смотрится в зеркало! Он чувствовал заранее, что увидит мохнатое чудовище, живущее под амальгамой. Самого себя — в зазеркальной глубине. Зеркало в зеркало — это нельзя, это страшно. Потому он зеркало отбросил и старался в него не смотреться, а только следить, что отражается в нем. А то можно еще увидеть чудовище и в нем узнать — себя!

Он не хотел видеть себя внутреннего, а только внешнего. Сколько телодвижений и действий в его стихах. «Я» в них — часть внешнего мира, я — сирень, я — весна, я — пчела, я — все-все-все. Он чуток к внешнему, чтобы не слышать ужаса внутри, и потому гениально сверхъестественно чуток.

И гениально поверхностен. Только бы не царапнуть амальгаму. А еще страшнее — разбить зеркало. «Вот понеслась и зачертила, и страшно, чтобы гладь стекла стихии чуждой не схватила молниевидного крыла». Все. Можете уже аплодировать.

Послесловие

Однажды зимой на морозе, возвращаясь откуда-то, у нас в Ротах я увидела прыгавшую в окне тень большой обезьяны. Хвост крючком, взад-вперед, она все металась

за занавесками, под башенкой. Но это чересчур символично.

Однако жизнь странна. Едва я закончила перепечатывать это сочинение и вышла на улицу, жалея о былой живости, как увидела на углу небольшую толпу детей. Они смотрели на маленькую квадратную (верней, кубическую) обезьянку. Дама прогуливала ее на поводке. Обезьянка, пепельно-серая, лысеющая, прыгнула на кусты сирени и покачала их, а потом обернулась и посмотрела на меня крохотными золотыми глазами.

Я пришла домой и включила радио, там пели песню: «Хэлло, мистер манки».* Это уже походило на наваждение. Умершая во мне сестра Шимп, слабо шевельнув хвостом, повторила — прощай, мисс, мистер манки.

1996

* Monkey (англ.) — обезьяна.

ЧУДЕСНЫЕ СЛУЧАИ И ТАИНСТВЕННЫЕ СНЫ

Вся моя жизнь есть чудесный случай и таинственный сон. А таинственнее всего чудесного — стихи. Кем вдохновляются, кем вдуваются они — сверхразумные в разумную голову — Бог весть. Но не об этом речь, я просто хочу рассказать несколько случаев из моей жизни, когда явно через оболочку Майи, через занавес обыденности проступали иные силы — какие бы они ни были.

Кража варенья

Когда мне было года три, а может, и меньше, оставшись дома одна, задумала я полакомиться воровски вареньем, спрятанным у тети в буфете. Буфет был дореволюционный еще, красного дерева, огромного роста. На верхнем этаже его за толстыми стеклянными дверками и таились банки с клубничным ли, вишневым... Запасшись столовой ложкой, я начала свой непростой горновосходительный подвиг. Придвинув стул, забралась на мраморную доску, венчающую основание буфета, теперь глаза мои были почти на уровне банок с вареньем. Рука моя открыла дверцу, сердце затрепетало, я уже переложила ложку в правую руку, но почему-то в это мгновение воровато обернулась... И ложка звякнула из моих рук об пол — я увидела и запомнила на всю жизнь — комнату

плавно и быстро пересекла белая фигура и скрылась в смежной, без дверей. В ужасе сползла я с буфета. Сколько бы раз потом я ни повторяла это преступное деяние, никогда больше свидетелей этому не было (или я их больше не видела).

Вскоре же меня еще больше напугала музыка. В этом, возможно, и нет ничего сверхъестественного. Я опять была одна дома, когда вдруг радио заиграло ужасную музыку, от нее веяло запредельной нечеловеческой тоской. Она была похожа на древнюю змею, она обвинялась вокруг меня, в ней было нечто более ужасное, чем просто погибель. Она нарастала, взвивалась, подползала все ближе. Я подбежала в ужасе к дверям, ведущим в коридор нашей коммунальной квартиры (там тоже никого не было), и так стояла почему-то с распростертыми руками, готовая убежать, спасаясь, в коридор, но и там как будто таилось нечто сговорившееся с этой музыкой. Что это было — не знаю, но больше никогда в жизни я не чувствовала такого ужаса, такой безнадежности.

Кстати, фигуру в белом я видела мельком при иных обстоятельствах, правда, другую. Уже в квартире на Черной речке в непохожую эпоху жизни Олег Охупкин читал мне стихи. Долго, ровным напористым ямбом, без яркости и мысли, но с какою-то угрюмой силой. Прочтя их, он сказал совершенно без всякого выражения фразу, которую я тоже запомнила на всю жизнь: вот такой же я и мужчина. Когда я пошла на кухню за чайником, я увидела, еще не войдя туда, мелькнувший очерк тела, белоснежный и с крыльями. Вернулась и сказала Охупкину — я сейчас на кухне видела ангела. Мы заговорили на другие темы. Но потом со слов Олега стали говорить, будто я все время ангелов вижу. Что, увы, не так. Только во время чтений стихов я всегда их не то чтобы вижу, но провижу и чувствую в заднем ряду. Им всегда меня жаль бывает, будто я жертва какая-то — распинающаяся на публике, — всегда они были со мной, где б я ни читала — в комнатухе чьей-нибудь коммуналки, в пышном ли, сгоревшем теперь зале шереметьевского дома (дом писателей), в средневековой башне в Ньюкасле, в финских домах культуры, в сербском университете... Да повсюду.

Граненый шар

Не буду скрывать — это случилось в состоянии острого похмелья. Ну и что ж? Во-первых, сколько бы раз я ни была в таком мученье (очень часто), ничего подобного я никогда не видела. Во-вторых, крайняя изнуренность плоти, результатом чего бы она ни была (аскетизма или болезни), просто приводит нас на край земного (как мо-наха из учебника географии) и дает нам возможность видеть плотскими очами то, чего им не положено видеть. Я жила тогда на даче в Лисьем Носу, у самого залива, и вот, прогуливаясь утром с пуделем Яшей среди вековых дубов, посаженных Петром Великим на границе земли и песка в виду моря, я вдруг ясно и отчетливо, сантиметрах в двадцати от глаз, увидела прозрачный, алмазно посвер-кивающий шар-многоугольник, явно не стеклянный, ско-рее — из горного хрусталя. Когда я протягивала к нему руку, он отлетал немного назад. Я спокойно подумала, что раз я вижу это — значит, я сейчас умру. Я не испугалась, однако отчетливо не хотела покидать этот мир прежде, чем верну собаку на дачу, чтобы она не потерялась. Я повернула и пошла к даче, а шар, перели-ваясь, летел передо мной, я пыталась сосчитать его грани, но он вращался.* Когда мы подошли к калитке, он исчез.

Потом я вспомнила стихи Оли Седаковой: «Из возду-ха, из дали дальней как будто шар мне вынули хрусталь-ный», так именно и случилось. Что это означало — мне неизвестно.

Я и сама писала когда-то до этого происшествия о «сверкающем невидимом додекаэдре» в повести «Взрывы и гомункулы». Но этот шар был сложнее, в нем было больше граней, сосчитать их мне не удалось.

Лопнувший стакан

См. «Определения в дурную погоду».

* Они слишком быстро летают. Если и заметишь промелькнувший блеск — не успеваешь понять, что это было.

Гитара

Не помню — как и почему оказалась у нас дома чья-то старая потрепанная гитара, из самых дешевых. Я не училась на ней играть, хотя, может, и собиралась. Слуха у меня нет, в музыке — невежда. Правда, пыталась как-то играть на детской арфе, очень недолго — пластмассовым медиатором выщипывала на струнах песню «На позицию девушка провожала бойца». Если кто-то угадывал эту мелодию (что было крайне редко), я дарила приз. Так вот — никому не нужная гитара стояла себе в углу моей комнаты. Однажды глубокой ночью она вдруг заиграла. Вернее, издала ни с того ни с сего два-три протяжных звука. И замолкла. В ужасе я прокралась мимо нее к тете в комнату и ночевала там. Как раз на другой день был у меня в гостях Охапкин с девушкой, и я продала ему этот инструмент за бутылку водки.

Звуки и стуки

В этой комнате вообще часто раздавались таинственные стуки, но я не обращала на них особого внимания. Там чувствовалось (и не только мной) чье-то присутствие. Как там сейчас после нас живут люди, хотелось бы знать. Однажды я зашла туда — забрать письма, что ли, приходившие все еще на наш адрес. В моей бывшей комнате была спальня немолодой четы, кровать стояла поперек комнаты, что уже нехорошо — окно выходило на юг, и спать надо, по всем поверьям, по линии меридиана. Какие сны им там снятся? Часто у кровати я слышала веяние крыльев, один раз — в полудреме очнулась от сильного хлопанья больших крыльев, а потом — лапа с когтями впиалась в лоб. На несколько жутких мгновений — и улетела куда-то. «Налетела тяжелая птица — Лапой мощно ударила в лоб...»

Но все же никакие звуки не доводили до ужаса. Только один раз. Я была ночью одна дома, мама задерживалась где-то, а тети не было, я сидела в ночной рубашке на диване в проходной комнате — и вдруг прямо за спиной из моей комнаты загремели ужасные стуки — через

тонкую перегородку — прямо в плечо. Подталкиваемая темным облаком кошмара, я медленно сползла с дивана и подбежала к входной двери. Стуки умолкли, но вдруг снова, хотя уже медленнее, возобновились. Тогда, ища спасения от чего-то необъяснимого, я открыла дверь и сделала было шаг на лестничную площадку, когда и там услышала — правда, другое — медленно поднимающиеся шаги. Что было страшнее — стуки или шаги — я не могла выбрать, но в этот момент раздался телефонный звонок, сразу вернувший меня в обычную реальность. Я захлопнула дверь — а шаги уже были близки к повороту на наш марш — и бросилась к телефону. Подняла трубку — молчание. Но стуки прекратились, шагов тоже не было слышно. Никакая дверь на лестнице не хлопнула. Что бы я увидела, если бы дождалась того, кто поднялся по лестнице, — пьяного соседа или... Бог весть.

Арно Царт

Однажды в начале перестройки, когда уже появились книги, ранее недоступные, но еще все-таки продавались по каким-то талонам, я пыталась в магазине старой книги на Рижском проспекте купить том Мейринка. Продавщица почему-то не хотела мне его продавать, не хватало какого-то талона, что ли. Я поспорила с ней, безуспешно, и в негодовании отвернулась и отошла к другому отделу напротив, к которому никогда бы не приблизилась в обычных обстоятельствах — технической книги. Я искала про себя новые аргументы в споре с продавщицей, вдруг взор мой упал на небольшую брошюрку под стеклом — на обложке значилось: А. Царт. «Кирпичи мироздания». На секунду я будто потеряла сознание, а потом купила ее копеек за 20. И ушла, забыв о Мейринке (его, впрочем, я приобрела в другой раз). Если когда-то были мне знаки с той стороны — пусть даже насмешки чувались — то никогда так отчетливо. Ведь это я придумала Арно Царта, поэта, живущего в Таллинне, влюбившегося в китайскую Лису, я сочиняла от его имени стихи и выдавала его за действительно существующего. Я повертела брошюрку в руках — А. — имя никак не расшиф-

ровывалось, только написано было — профессор из Штутгарта. Книга о физике, об атомах, впрочем, было и изображение кабинета алхимика. Она была подарена кому-то кем-то году в двадцатом и не разрезана... Я была ее первым читателем — через шестьдесят лет после выхода в свет. Как хитро было все это подстроено, с какой же целью? Просто астральное развлечение? Или весть — вот, мол, мы тебя видим, мы поймали в море твою бутылку и положили туда свою записку... Мы — рядом.

Столоверчение

Точнее сказать — блюдечковерчение. Может быть, ни стуков, ни игры одинокой гитары в ночи не было бы, если б я задолго до этого не занялась этим темным делом. Кто-то забытый подарил мне книжонку, где подробно описывалось, как все это делается. Женя, мой муж, умелый шрифтовик, вырезал большой круг из плотной бумаги и начертал на нем алфавит и — в виде маленьких черных воротец — вход и выход для ожидаемого духа.

Нужен был еще круглый столик без единого гвоздя (такой отыскался) и блюдечко. Ясно помню сделанную сажей, расплывающуюся отметинку на обратной его стороне. При свече вокруг столика человек пять, дрожащие чуткие пальцы на блюдечке, мизинцы и большие соединяются с чужими, легкий ток пробегает, блюдечко неподвижно, нервные смешки, блестящие перегляды — и вдруг оно — доселе тяжелое, как камень, — легко строгивается, а потом как завертелось, едва замедляя свою отметинку у нужной буквы — только успевай читать...

Всегда все подозревали друг друга в плутовстве — в нарочитом подталкивании блюдечка. Вызывали Пушкина, Калиостро, протопопу Аввакума, знакомых умерших (их было еще так немного). Всех спрашивали: тебе там хорошо? Аввакум ответил: хорошо. — А жена — с тобой? — Со мной. С Калиостро диалог я даже записала и прилагаю. Раз некий дух сказал: я уйду, мне помешали, приближается посторонний. И действительно, раздался звонок в дверь. Они всегда говорили поначалу правду, которая поражала, и заваливали ее грудой лжи, как бы

в издевку. Раз я спросила: поменяем ли мы квартиру, он отвечал — да. — А куда? — У Тучкова моста. На другой день мне позвонили (по объявлению) и предложили квартиру у Тучкова моста. Но мы туда не переехали — не помню почему. Вот и все у них так.

Спрашивали — кто раньше всех умрет, не помню уж, кого дух указал. Делать этого было не нужно — я как бы сама открыла дверь, и туда ввалилась странная толпа каприччиоподобных существ, смесь астральных издевок и смертного холода.

Разговор с Калиостро

(Запись от 29 января 1970 года)

Вопрос: Кто ты?

Ответ: Дух Иосифа Бальзамо, графа Калиостро.

Вопрос: Хорошо ли вам живется на том свете?

Ответ: Нет.

Вопрос: А кому-нибудь на том свете хорошо?

Ответ: О, многим!

Вопрос: Почему вам плохо?

Ответа не последовало.

Вопрос: Ты не хочешь отвечать на этот вопрос?

Ответ: Нет.

(Непонятно, почему вопрошающий перешел на ты, но духу, кажется, все равно.)

Вопрос: Будет ли война?

Ответ: Коне... да.

Вопрос: Когда?

Ответ: 5... 4...

Вопрос: Через четыре года?

Ответ: Да.

Вопрос: Погибнем ли мы все во время войны?

Ответ: Да.

Вопрос: Умрет ли кто-нибудь раньше?

Ответ: Да.

Вопрос: Кто?

Ответа нет.

Вопрос: Ты устал?

Ответ: Да.

Вопрос: Придешь ли ты еще?

Ответ: Да.

от 21.50 до 22.30 (с перерывом)

✧ ✧ ✧

Прилагаю к этому еще одно отражение моих занятий спиритизмом. Оно тоже довольно точное, если не считать того, что для пущей таинственности я перенесла действие в Тарту. Стихотворение написано в 1968 году.

Баллада о спиритическом сеансе и тени Александра Пушкина

И как ленивый вол
Луна взойдет над Тарту,
И посредине марта
Поставлен круглый стол.
Три бедные студента
Склонились над столом,
И алфавит и цифры
На столике мелком.
Там духов вызывают,
И так глаза блестят,
И духи прилетают
И правду говорят.
Нет, в блюдце воплотиться
Не хочется ему — и хочется, —
Как птица, как девка в терему,
Так он трепещет в блюдце
Уже полуживой,
Ему не улыбнуться
И не взмахнуть рукой.
И вот оно фарфорово
Теплеет и дрожит,
Над буквами летает
И правду говорит.

В муках блюдечко дрожит,
Тень по свечке вниз сбежала...
Ну, фаянсовую жизнь
Начинай теперь сначала.
«Это ты или не ты,
Или вечный и шальной
Дух назвался вдруг тобой?»
«Что, Александр Сергеевич,
Будет ли война?»
А он не понимает
И скок — на мягкий знак.
«Чегой-то я не понял —
Будет ли война?»
А он им отвечает:
«Не будет ни хрена».
«Вы, Александр Сергеевич,
Любите собак?»
А он им отвечает
На это: «Еще как!»
В муках блюдечко дрожит,
Тень по свечке вверх бежит.
Или вечный и шальной
Дух назвался вдруг тобой?
Чтоб увидеть блеск свечи,
Как ладони горячи,
Боль стекающих минут
Ты забыл и бросил тут?
Электричество зажгли...
Так неловко стало вдруг —
Будто кто-то нас обидел,
Будто кто из темноты
Видит нас, а мы не видим.
В муках блюдечко дрожит...

О том, как добраться на такси с одного конца города на другой, имея в кармане две копейки

Это возможно, но только при явной и нескрываемой помощи ангела-хранителя или иной потусторонней силы.

Покачиваясь и в расстроенных чувствах, вышли мы с Сергеем, моим покойным теперь другом, из дома, где

только что разразился чудовищный скандал, настоящее побоище (см. «Теория и практика скандала»). Сергей был одним из тех редких людей, которые рождаются, чтобы напомнить нам, что человек задуман и мог получиться гораздо лучше, чем это произошло на самом деле. Он был красив и благороден, чист и наивен, но по какой-то нелепой случайности посвятил себя занятиям каратэ и культуризмом, когда то и другое было еще запрещено, и преуспел в этих искусствах. Любил же он математику и французскую поэзию. Бодлера, Верлена он мог читать наизусть долго, правда, выговаривая слова до неузнаваемости по-русски. В драку и скандал он был, конечно, втянут мною. Вышли мы на улицу, разгоряченные и пьяные, и не вспомнили, что ни у него, ни у меня нет денег на такси, а иначе добираться было невозможно, поскольку я на ногах не стояла. До угла Московского проспекта Сергей нес меня на руках, а там поставил на землю и стали мы с ним ловить такси. Я, как глупая собачонка, выбегала прямо под колеса, и машины, шарахаясь, проносились мимо. Кстати, рука у меня была порезана и я была вся в крови. Тут я заметила такси, стоявшее у обочины, подошла и спросила как можно более трезвым голосом — довезет ли до Новой деревни. Шофер, не глядя на меня (он копался в бумажнике), спросил — нет ли у меня двушки по телефону позвонить. Я обрадовалась и вытащила из кармана двушку (единственная наличность, которой я обладала) и, крутя двушку окровавленной рукой, ответила: довезешь — дам двушку. Он взглянул на меня и немедленно умчался. Тут Сергею удалось все же остановить машину. Мы сели в нее, все еще не задумываясь о расплате. Внезапно шофер заметил, что я вся в крови, и попросил не пачкать машину. Самая идея, что моя чистая, алая, жертвенная кровь может запачкать его занюханную и заплеванную колымагу — глубоко меня возмутила, что я и высказала ему примерно такими словами: ах ты шлюха, ты возишь кого попало, и еще... Поглядывая на могучего Сергея, шофер с мрачной решимостью прошептал: «Вылезайте, денег не надо, только вылезайте».

Мы вышли и обнаружили себя уже у Казанского собора. Поникшая, я сидела на краю тротуара, пока Сергей

не поймал еще одну машину. В ней уже мы начали громко выяснять отношения и обвинять друг друга в случившемся. Шофер некоторое время одним ухом прислушивался к нашему разговору, а потом обернулся и — онемел от удивления и обезумел от радости. «Сережа, — воскликнул он, — это вы?» И он стал бурно рассказывать о своих впечатлениях от какого-то подпольного чемпионата по культуризму, и в каком восторге он от Сергея, и какое это счастье и честь везти его в своей машине. Он довез меня до дому и, прервав свой рабочий день, пригласил Сергея еще выпить. Сергей согласился, отнес меня домой, поскольку я уже совсем не могла идти, и они уехали. Вот так я добралась до дому совершенно бесплатно, даже две копейки негодились. А прямой ведь путь был в милицию и в вытрезвитель. Ан нет. И конечно, это не простое совпадение и стечение обстоятельств. Просто охраняющим меня силам было ясно, что из милиции в таком настроении, состоянии и при таком могучем спутнике мне уже не выйти.

Некоторые сны и толкования их

Не знаю — наяву это было или в тонком сне. На третий день после смерти тети Берты, которая меня вырастила, мы прожили с ней вместе тридцать лет, — я лежала на диване в отчаянии и легкой дреме и вдруг увидела, что у входной двери стоит она, умершая, и зовет меня к себе. Я встала и подошла к ней в безумной надежде... Но когда я уже хотела взять ее за руку... Она стояла там голая... Вдруг она стала превращаться в страшного демона и сама схватила меня за руку. Невроятный ужас и обида затопили меня — оттого, что демон смеет явиться в таком любимом образе. Демон стал душить, и я приготовилась уже погибнуть, как вдруг догадалась в последний миг — перекреститься — перед лицом его — крестом отогнать — и демон дрогнул, еще раз — и он исчез.

Я очнулась на диване в полной уверенности, что это был не сон. Я и сейчас думаю, что это происходило в нейтральном пространстве между сном и явью, в проме-

жутке. С тех пор я научилась креститься во сне, если мне там угрожала опасность.

Строго говоря — сны, как и вдохновение, выпадают из течения жизни, они — не она, а между тем, что важнее для нашей души снов, и что лучше для нее — вдохновения.

Тетя, не очень много читавшая при жизни, в снах казалась всеведуща. Она явилась мне во сне (настоящем на сей раз) и сказала: я за тупым углом. Смысл этих слов ускользал от меня, пока я не прочитала Николая Кузанского и его рассуждения об острых и тупых углах. У него тупой угол — начало бесконечности. Как странно! — говорят в таких случаях японцы. Она могла бы проще сказать об этом. Как странно, что она выбрала именно термин средневекового монаха!

Как при переходе из одной масонской степени в другую сообщают возвышающемуся новую тайну, так бывают и сны, что могут присниться только подготовленному, продвинувшемуся. Они как вежа, как весть о том, что худо ли, бедно, а мы перешли в другой класс.

В середине восьмидесятых ранней весной явился мне во сне большой экран, он разделился на четыре малых — крестом, на каждом таинственное телевидение показывало одно и то же — изображение Христа, несущего Крест. Он был виден по пояс, по лицу Его текли слезы. Потом экран погас и, снова загоревшись, показал Уробора, змея, кусающего свой хвост, символ, как известно, вечности. И пока он, зеленоватый, еще был виден — некий голос произнес: «Это одно и то же».

Этот сон не вмещался в мое разумение, но я чувствовала, что он важен, важен как истинное происшествие жизни.

Стоит добавить, не касаясь непостижных смыслов этого сна, что, скорее всего, он просто обозначил мою «стоянку» на тот момент моего развития. В мусульманской мистике проникновение в круг лежащего дракона есть совмещение Луны и Солнца внутри души, что, судя по тогдашним стихам, тогда во мне совершалось. Их совмещение — это одновременно и затмение, и просветление. Отчасти «нигредо» в алхимии означает то же самое. Человек неподготовленный, приблизившись к дракону, по-

гибает. Сон был зна́ком, что этот трудный отрезок пути, которого все равно не избежешь, я все же прошла.

Еще раньше снился мне Антихрист (см. Западную элегию из «Элегии на стороны света»). Он плавно опустился с неба прямо в толпу на Черной речке, за ним летели вертолеты. Он благословлял людей, упавших на колени, и когда он проходил мимо меня, я подняла глаза и увидела его чудовищный мертвенный взгляд. Он понял, что я узнала его, и прошел мимо, не благословив, совершенно равнодушно. Сон этот был жуток. (См. «Элегии на стороны света»).

Другие страхи

Удивительно то, что человек — существо залетное, по природе своей космическое, так трепещет, так содрогается от любого дуновения иных миров. Наивный, как дерево, пускающее длинные корни в утлую обреченную землю, цепко внедряется в эту жизнь, строит дом, сторающий у него на глазах.

В электричестве есть что-то жуткое, оно иррационально. Иной раз подумаешь только ночью — а вдруг свет погаснет — что делать? — как он и гаснет необъяснимо. То есть, конечно, приличия соблюдены — причина находится, но... Вообще, я думаю, с внедрением электричества в жизнь человеческую кончилась эпоха видимых бесов и ведьм — они все куда-то подевались — может быть, они нырнули в провода электрические, в шнуры и свет этот нездоровый, дурной. Потеряв рога, копыта, мучаются в нем, вся их сила мелкая уходит на это (см. «Проводы бесов в провода»). Но какое-то их число все равно живет по-прежнему, они-то и занимаются ночными страхами... Однажды я осталась дома одна, не считая кошки. Хотя в данном случае ее обязательно надо заметить. Все было тихо и спокойно, я читала перед сном, хотя и слегка настороженно, как всегда наедине с ночью. В комнате этой иногда слышались стуки и заподозривалось обитание домового или, может быть, лар, не уехавших с прежними хозяевами. Но в этот раз все было мирно, кошка дремала в ногах. Я совершенно забыла о страхах и увлеклась чте-

нием, как вдруг услышала: скреб-скреб — будто лапа царапает одеяло. Я спокойно перевернула страницу, даже не взглянув на кошку. Но когда это повторилось, я все же отвлеклась от книги и спросила: «Мисс, что с тобой?» Ответом был тот же звук. Тут я увидела, что кошки-то на кровати нет, что она, незаметно прыгнув, безмятежно спит в углу. Кто же скребется? Этого я так и не узнала, замирая от ужаса, перебралась в другую комнату и там уже не спала до света.

Собственно, к чудесным относятся и такие явления, которые, не имея в себе ничего сверхъестественного, все же как бы и не вполне принадлежат к этому миру. Они так редки, что не всякому доводится наблюдать их, даже и в долгой жизни. Смерч, например. В детстве я видела это бешено несущееся по морю веретено — и все вокруг перенеслось в иное измерение, купальщики бешено и беспомощно колотили руками море, пытаясь достичь суши раньше, чем смерч достигнет их.

Вид шаровой молнии тоже ошеломляет. Мне было лет десять, когда мы с мамой в Кавголове посреди лета заглянули однажды в чайную. Еще были тогда такие — деревянная, уютная. В углу буфетчица разливала чай, над ней висела радиоточка (скорее, похожая на круг — тарелка). Народу почти не было, мы сели у окна с отворенной форточкой. Был серенький милый денек, и слегка парило. Почему-то вдруг мама (ей вообще свойственны иногда вспышки ясновиденья, предчувствий) предложила пересесть поближе к буфету. И только мы это осуществили, как в форточку плавно и стремительно влетел огненный шар, размером с мою тогдашнюю голову, слегка завис там, где только что находился мой мозг (если бы две эти сферы совместились, конечно, осталась бы только одна), и, помедлив, влетел в радиоточку, в ней и растворился. Радио замолчало. Мечта об огненной голове осталась.

Почти в любых воспоминаниях мы находим свидетельства о странных происшествиях, призраках, духах и прочих прорывах ветхой ткани «реального» бытия. Будь то явление тени Петра Великого Павлу или целого сонмища духов, напугавших бесстрашного Бенвенуто Челлини в Колизее. Можно было бы составить целую энциклопедию сверхъестественного, пусть эти заметки будут моим

вкладом (очень скромным) в этот будущий свод. Оно случается, духи посещают нас — и не важно, как мы понимаем их и чем они являются на самом деле — издевкой, насмешкой или помощью. Они проходят сквозь запоры в нашу трехмерную тюрьму. Ничего не поделаешь — в моем случае (в противоположность, к примеру, Блаватской) они бедны и скупы. Немудрено — самое чудесное и таинственное явление в моей жизни, повторяюсь, это стихи.

февраль 1996

✧ ✧ ✧

Еще два кратких и сухих свидетельства — о гаданиях.

Во время войны моей малолетней тете Лиле (я ее так и не увидела) на вокзале цыганка взглянула на руку и сказала: «Ты, девочка, не переживешь 16 лет». Так и случилось. Вернувшись в Ленинград в 45-м году, она погибла, попав под трамвай на Литейном.

Однажды в разгар какой-то многолюдной пьянки в 75-м году знакомая дама, сидевшая рядом, долго всматривалась в мою жестикулирующую руку. На миг схватила ее и вскрикнула: «С вами или с кем-то из близких вот-вот случится несчастье, связанное с головой. Не то удар, не то кирпич на голову упадет». «Несчастье с вами будет в эту ночь», — растерянно пошутила я. Через два дня у тети случился инсульт, сведший ее в могилу. Перед этим в дом влетела странная птица — вернее, птенец, отбившийся, что ли, от стаи. Он долго летал и бился о стены. Перед тем как его выпроводить, я взглянула на тетю. Она смотрела на него, и взгляд ее был обреченный и знающий. И это не единственный случай, когда птица, влетающая в дом, приносит смерть. Это — зловещий и верный знак.

Мои сны чаще говорят о каких-то внутренних переменах, а вот моей маме иногда снятся вещие сны. Перед арестом ее отца (а потом еще и мать арестовали) ей снилось, что в дом пришли странные огромные существа, одно из них держало в руках бритву. Лица их были чем-то закрыты. Они схватили отца и отрезали ему голо-

ву бритвой. Потом так же поступили и с матерью. Потом они схватили маму, один из них занес бритву, но вдруг отпустил ее. Действительно, родители исчезли в тюрьмах, а с мамой ничего не сделали, хотя ей было уже шестнадцать лет и в этом возрасте часто сажали.

Маме вообще иногда свойственно ясновиденье. Однажды, когда она была в отъезде, я попала в милицию (см. «Моя милиция»). Это было сильное переживание, я провела ночь в кутузке. Дня через два мама приехала и, едва войдя в комнату, едва взглянув на меня, спросила: «Ты что, в милиции была?»

Кстати, дама, гадавшая так верно по руке, рассказывала, что этому обучила ее старая цыганка. Она остановила ее на улице и сказала: «Девочка, у тебя черные глаза, и я хочу учить тебя. Я не могу умереть, не передав мое знание, а все мои погибли на войне».

И действительно, цыганка стала учить ее разным гаданиям. А потом сказала, что самые страшные и последние знания она пока не может ей передать — еще молодая. А вот когда исполнится ей восемнадцать, она ей все сообщит. Она отдала ей на хранение книгу, якобы из кожи святого, и велела не открывать до ее приезда и уехала. Старшая сестра этой дамы, зная, как дорога ей эта книга, однажды во время ссоры схватила ее и выбросила в деревенский сортир. «Я ей и по сей день этого не простила», — сказала моя знакомая. Так она и не узнала последних тайн, но все же она знала немало.

ГАБАЛА

1

В начале двадцатых годов маленькая ученая экспедиция, теряя людей и животных, пробиралась по горным тропам к Лхасе. Туда почти никогда не пускали европейцев. Но Гомбоджаб Чибииков, глава этой миссии, имел при себе официальные бумаги из Москвы и еще тайные из Петербурга и потому надеялся, что их пустят. Но все получилось еще легче, чем он думал. Двое лам в остроконечных шляпах, едва взглянув в лицо Чибиикову — тут же открыли дорогу в священный город.

Ламы и дальше расступались перед ним, как Чермное море, хотя их море было шафрановое. Чибииков склонил голову перед Далай-ламой, и тот возложил три пальца ему на главу. Далай-лама ожег Чибиикова всей страшной живой глубиной своих глаз и передал ему послание одному лицу в Петербурге и подарки властителям далекой-далекой земли, где, однако, выстроился подвластный ему храм. Чибииков хорошо знал Хамбо-ламу (настоятеля) этого храма Дорджиева и передал от него нижайший поклон.

Когда Чибииков со свитой спускался по ступеням отвесного дворца, к нему привязались двое надоедливых лам неизвестной степени посвящения. Они кружили вокруг него, возбужденно перешептываясь и поглядывая на его голову. Что-то считали на пальцах.

Когда караван был уже в пустыне, на горизонте возникли и уже не исчезали два всадника. За Уралом на маленькой станции Чибикив вышел из поезда подышать и увидел, как вдоль вагона шмыгнули две фигуры в желтых халатах. Это были те самые ламы с лестницы.

Душной вагонной ночью Чибикив спал, прижавшись лицом к свернутому пальто, как вдруг проснулся от легкого поглаживания по затылку. Снится, наверно, подумал он. Но когда оглянулся, увидел исчезающую в дверях быструю тень. Померещилось, верно.

В Петербурге Чибикив передал все послания, побывал в храме в Старой деревне, поговорил с Хамбо-ламой и принялся писать книгу о своих странствиях. Он торопился, ему стало казаться, что жизнь скоро кончится, хоть он и не был еще стар. Однажды ночью он подошел к окну и через узкий свой переулок увидел прижавшиеся к стеклу лица тех неотвязных лам. Все чаще стал он встречать их теперь: то в лавке, то у дверей библиотеки.

Случилось: в недобрых сумерках обезумевшая лошадь боком налетела на Чибикива. Он успел только подумать, что вот сейчас так просто, буднично, грубо лошадью все кончится. Никого не успел вспомнить и чайл уже с берега Фонтанки переселиться в один из десяти миров. Увидел на мгновение золотой лик Будды. Но гнедая вдруг качнулась и захрипела. Человек в коричневом халате повис на ее взмыленной шее. И скрылся. Народ кругом хвалил расторопного татарина. А жизнь пошла по-старому. Чибикив сочинял отчеты и доклады, но вдруг стал чахнуть и умер внезапно. Тело оставили лежать на большом столе посреди комнаты. Когда утром пришли за ним — головы не было. Все терялись в догадках, кому она, бедная, понадобилась, так и похоронили без нее.

Но не пропала голова, а таинственно совершила в узелке обратный длинный путь в Тибет. Ей повезло: она стала священной чашей — габалой. В праздники лама брал ее, окованную серебром, в руки, пел заклинания и брызгал из нее кровью в костер.

Петербургский Хамбо-лама Агван Дорджиев знал эту тайну. Однажды общий их с Чибикивым друг пожалел в разговоре пропавшую голову. «Что ты, — ответил Дорджиев, — у него же была габала. Это признак такой избранности. Это — редкость и счастье».

Он рассказал: габала — это особая форма черепа, одна на миллион. У нее много признаков. Две макушки, например, незаросший родничок, и много еще невидимых глазу, как знак «вачир» на темени. Распознать ее носителя при жизни могут только особые ламы, обучающиеся этому много лет. И когда найдут такого человека, то уже не отпустят его, ходят за ним до смерти. А потом крадут ее, и она служит Богу. Душе от этого — блаженное перерождение.

2

Завиваясь в веревочку, вкось окна шел снег. Но тротуар был черен. В окнах напротив мелькали тени, девушка склонилась над шитьем. Иногда она сидит так до утра. В смутном небе таилась Полярная звезда, но я подняла глаза на нее, я знаю, где она — всегда ровно посередине окна моей комнаты. Вдруг загудел звонок.

За дверью стоял Витя (длинный юноша, молодой поэт) в светлой женской шубке и плакал.

— Что с вами?

Он рассказал, что у него случился припадок на улице, он упал. Мимо проезжали новые русские на «мерседесе». Оттуда вышла женщина и укрыла его шубкой, они уехали. Он полежал, а потом какая-то сила перенесла его к моему дому.

Он сидел в моей комнате напротив икон и по-птичьи пугливо озирался. И впрямь вдруг сухо щелкнуло что-то рядом. Витя уже не плакал, а смотрел куда-то мне за спину. В шубке и платочке, повязанном по-пиратски, он глядел девушкой из терема. (Он никогда не снимал платочка, один только раз он пришел без него, и я подумала в первый момент, что он постригся.)

— У вас за спиной ходят, — вдруг сказал он спокойно. — Кто?

Я обернулась и ничего не увидела, только озноб пробежал по затылку да что-то скрипнуло громко за плечом.

Витя ровным голосом продолжал: они ходят навстречу друг другу у вас за спиной.

— Да кто? — спрашивала я, как слепая.

— Монголы. Они в синих халатах, и в руках у них сабли. — Лицо его побелело, а глаза позолотились. — Будто сторожат.

— Чего ж меня сторожить? Монголам?

С некоторым ужасом я вспомнила о Чибиковых сторожах. Вскоре Витя ушел.

Да, впрямь, у меня две макушки и незаросший родничок, но это еще далеко не все, что требуется для габалы. При жизни ненужная худшая часть ее (подставка ееная) должна иметь три свойства: 1) абсолютную невинность, 2) умереть не насильственной смертью, 3) не убить ни единого животного. Второе и третье не перевесят первого, я могу быть спокойна за свою голову.

Не выслеживают ее невидимые стражи, не закуют мою черепушку в серебро, не нальют темный чай или кровь с вином в бывшее мысленное пространство, не будут брызгать из дома вдохновения и жалости в трещащий костер и на бездыханные жертвы.

Прошел почти год. Снова Витя, теперь уже здоровый и спокойный, сидел на том же месте. Но вдруг, прочтя мне новое стихотворение, взглянул опять мне за спину и так же ровно, как тогда, сказал:

— Опять ходят. Другие.

И, резко откинувшись, внезапно упал вместе со стулом назад наотмашь, головой об пол. И потерял сознание. Несколько секунд он лежал бездыханный боком у книжной полки.

Я стала собирать рассыпавшиеся книги, не зная в растерянности — как приводить его в чувство. Вдруг у него припадок? Но нет. Он быстро пришел в себя, быстро сел на свое место. И очень трезво рассказал, что увидел на этот раз ангелов в темных одеждах со свечами. Они шли медленно, как те монголы, навстречу друг другу. Когда они сошлись у портрета Цветаевой в книжном шкафу, то свечи будто вспыхнули, портрет осветился, и дальше он не помнит.

— Что-то беспокойно у вас. Вы берегитесь.

Через два дня на Измайловском проспекте меня сбила машина. Когда я летела вверх, падая на рельсы, время как будто заключилось в чечевицу, в мандорлу, как изображают на иконах, в своего рода родильный мешок. Там

оно еле тянулось, и я долго думала, что вот сейчас будет удар, а потом — новое. О Боге я вспомнила перед ударом, но все осталось по-старому.

Когда я сидела на рельсах, прижимая руки к окровавленной голове и думая, что я умираю, мимо прошел человек, похожий на татарина, и, поглядев мне в глаза, отрицательно покачал головой.

Номер машины, сбившей меня, оказался 6336. На пространстве четырех цифр нагляднее не изобразишь Антихристово число.

Что до меня Антихристу? — думала я уже дома, насколько могла еще думать. Вдруг с полки слетел листок, это было мое стихотворение «Предвещание Люциферу». Так все сошлось — как не бывает, как не должно. Это стихотворение, мне казалось, должно было скорее льстить Проклятому, поскольку там развивалась моя старая (и не только моя, но и Оригенова) идея о спасении всех существ в конце концов (в самом конце концов) — даже и Враг человечества спасется. Но прежде должен, говорится в стихотворении, пролезть через ледяной зеленый крест. Мысли мои мешались. Насильственной смертью я не умерла, животных не убивала, и кто знает, может, я и невинна. Жалкое уличное происшествие превратилось в моей больной голове в битву Люцифера и страшных монголов. Они будто отнимали друг у друга мою габалу, как нищие чашку с подаванием.

9 декабря 1996

СОДЕРЖАНИЕ

Взрывы и гомункулы (<i>Маленькая повесть</i>)	5
Ранние рассказы	
Письмо из желтого дома	32
О точке зрения (<i>Интермедия</i>)	34
Уйди, не снись, крысиный хвостик	35
Сны	37
Болезнь	39
Огонь небесный	40
Бабушка	42
Соседка	43
Определение в дурную погоду (<i>Крошечные эссе</i>)	48
Маленькие эссе	
Вид на существование, или путь через кольцо	66
Ужас рождения	68
Грифельная доска на воде	69
Искусство в посмертном пространстве	69
Поэтика живого (<i>Allegro moderato</i>)	70
Реквием по теплому человеку, или Маяковский как богослов	74
Три особенности моих стихов	82
Из книги «Истинные происшествия моей жизни»	
Обезьяньи прыжки	86
Чудесные случаи и таинственные сны	98
Габáла	114

Ш 33

Шварц Е.

Определение в дурную погоду. — СПб.: «Пушкинский фонд», 1997. — 120 с.

ISBN 5—85767—111—6

ББК 84. Р7

Шварц Елена Андреевна

Определение в дурную погоду

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 1997

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 030 448 от 10 ноября 1992 года

Издательство «Пушкинский фонд»

191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Подписано в печать 02.07.97 г.

Формат 60x84x 1/16. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 7,5. Бумага офсетная. Тираж 1000 экз. Зак. № 295.



Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии

“Полиграфический центр”

190000, г. Санкт-Петербург, Прачечный пер., 6

Тел./факс 812 315 33 10

